
Геннадий СЕДОВ

ЧИТАЯ ТЭФФИ

Повесть

И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному яду,
Звеня, укачивает боль,
Как волны мертвую наяду.

Саша Черный

КНИГА ПЕРВАЯ

1.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Маленьким в доме хоть не живи, отовсюду слышишь: «Тебе чего? А ну, марш в детскую!» Выйдешь поздороваться в переднюю где вешают зонты явившиеся по делам натянутые батюшкины сослуживцы в одинаковых мундирах или поправляет прическу у трюмо заглянувшая на чашку чая матушкина приятельница — потеряют за щеку, молвят фальшиво: «Растешь, егоза?» — и шагнут за портьеру. Нужна ты кому!

У старших сестер своя жизнь. Лидия — невеста, ничего вокруг не видит, несется через комнаты, едва услышит голос приехавшего на извозчике с букетом цветов своего ненаглядного. В спальню Варвары и Марии путь заказан, там свои тайны. Пробререшься ночным коридором к двери, ухо приставишь: шушукаются. Понятно о чем. О кавалерах, о чем же еще?

Братья, Вадим и Коленька, вовсе не доступны. Первый — лицеист, редкий гость в семье, второй — юнкер младших классов артиллерийского училища. Приезжает домой по воскресным дням, часто с кем-нибудь из приятелей. «Отстань, не висни, мундир замараешь!» — и весь разговор.

Для своих шести лет она мала ростом, за чайным столом ей отведено обидное место — на стуле с тремя томами старых телефонных книг. Она хитрит, пробует, будто по ошибке, сесть к началу чаепития на другой стул, тянется изо всех сил повыше.

— Опять молоко пролили, — ворчит гувернантка Людмила. — И чего не на свое место сели!

Геннадий Николаевич Седов родился в Средней Азии, окончил Ташкентский госуниверситет. Работал очеркистом в молодежной газете, собственным корреспондентом газеты «Труд» по Узбекистану, заведовал отделом малой прозы в редакции литературного журнала «Звезда Востока». Автор восьми книг художественной и документальной прозы, лауреат Литературной премии Союза русскоязычных писателей Израиля.

Ябеда, каких свет не видывал, без конца жалуется маменьке. То растрепанная, то локти на столе держала, то ногти грязные.

После занятий с учительницей музыки она вышивает в комнате бабушки Надежды Фелициановны передничек кукле цветными нитками. Сидящая напротив в шелковом повойнике седенькая «grand-maman», как зовут ее домашние, рассказывает о днях, когда она и дедушка были молодыми, жили у себя то в одном, то в другом имении на Днепре. Каким налаженным было хозяйство: все, что надо для жизни, делали на месте, покупали в городе только чай и сахар, хранили то и другое в запертом шкафчике буфета, ключ от него бабушка носила на шее. Дедушка Александр Николаевич был мотом, одел однажды всю дворню в ситец, про этот его поступок долго сплетничали соседские помещики.

— Что же в этом плохого, бабуля? — отрывается она от шитья.

— Дело в том, дитя, — объясняет «grand-maman», — что ситец в наше время считался роскошью, крепостные девки носили обычно домотканые платья.

— Домотканые?

— Да, из ткани, которую делали сами.

— Чудно как.

Бабушка продолжает рассказывать. О том, как они переезжали целым «поездом» из одного имения в другое.

— В первой карете мы с твоим дедушкой, во второй твоя прабабушка с четырьмя внуками: Варей, Надеждой, Софьей и Александром. Затем карета с гувернерами и мальчиками: Владимиром, Виктором и Николаем. Дальше гувернантки со своими детьми, повар и прочая челядь.

Бабушкина голова клонится на подлокотник кресла, слышно тихое похрапывание.

Она водит иглой по пальцам, думает о том, что хорошо было бы стать знаменитостью. Чтобы все ахнули. Стать, к примеру, балериной. Или предводительницей разбойников. Или цирковой наездницей.

За окнами падает снег, видно, как бородатый истопник тащит из-под навеса во дворе ведра с углем, исчезает в подвале. Там гудит раскаленная печка, фыркает огненным паром машина, согревающая зимой квартиры. Подвал с крутыми каменными ступеньками, куда заходить ей категорически заказано, кажется ей убежищем таинственных великанов. Глубокой ночью, когда все спят, они собираются вокруг раскаленной печи, черпают из нее огромными ложками, глотают огненное месиво, пляшут свои великанские пляски со светящимися животами.

Скоро чудной праздник, Великий пост. В какой-то день взрослым нельзя есть мясо. Следующую неделю кушать можно только рыбу, яйца и сыр, в среду и пятницу батюшка с матушкой и прислуга не обедают, едят только вечером, а там и вовсе целый день голодают.

Она проснулась в темноте спальни от глухих ударов. Колокольный звон за стеной, тревожный, зловещий. Страшно. Позвать кого, никто не придет. Сжалась комочком: в коридоре зашлепали чьи-то осторожные шаги, мелькнула в приотворенной двери неясная фигура. «Привидение? Чур, чур меня!»

«Нянька, — тут же сообразила, — ушла к заутрене. И привидений скоро не будет, бояться солнышка, убрались к себе на болота и кладбища». Отлегло от души.

За окном светлеет, прокричали сиплыми голосами петухи, заворочалась на соседней кровати маленькая Лена, захныкала во сне — она пробежала к ней босиком, натянула одеяльце: «Поспи, поспи еще».

Утром, после умывания Людмила помогает ей одеться, заплетает косичку, повязывает синий бант.

— Не забыла, какой сегодня день? — заглядывает в детскую маменька.

— Этот самый...

— Ну?

— Великий...

— Неужели трудно запомнить, Надюша? — сердится маменька. — Прощеное воскресенье! Людмила, смените, пожалуйста, бант! — приказывает горничной. — На темный. «Придумала: на темный. На старуху буду похожа».

Молиться в храм идут пешком, всей семьей, это неподалеку, за углом. Студено, над обледеневшим каналом висит стылый туман. Бредут среди снежных сугробов по тротуару люди в шубах, тулупах, меховых шапках, двигаются извозчицы сани с седоками.

В церкви не протолкнешься. Чадят по стенам свечи, духота, похожий на гнома бородатый старичок в золоченых одеждах бубнит что-то с возвышения. Людмила шипит в ухо: «Креститесь, барышня! Кланяйтесь! Креститесь!» С ума сойти...

Батюшка с матушкой опустили на колени, она делает то же самое. Коленкам больно, присела на пятки. Прямо перед ней огромный светильник на цепях, на нем потрескивают свечи, капает на пол воск. Она тихонько подползает к тому месту, чтобы отколупнуть кусочек. Маменькина твердая рука на плече, гневный шепот: «Веди себя прилично. Наказание господне!»

Гном на возвышении помахал в очередной раз дымящимся золотым сосудом, произнес нараспев: «Простите меня, православные, если обидел ненароком словом или делом». В рядах задвигались, церковь зашумела, послышалось вокруг: «Прости меня, если можешь», в ответ: «Бог простил, и я прощаю».

У матушки на глазах слезы, прижала к груди, целует, батюшка пощекотал усами, Людмила заслонувила: «Прости, прости, прости!» Кончился голодный праздник, скоро Пасха! Полный дом гостей, куличи, крашенные яички, катания со снежных гор, поездки на дачу, к родным, знакомым.

— Маменька, папенька, Людмила, — говорит она. — Простите меня за все, за все! И я вас прощаю.

«Всех прощу, — думает. — Даже кривляку и задаваку Катьку»...

Катька Чепцова с соседнего двора старше ее на полгода. У них сложные отношения: неделю дружат, две недели в ссоре. Причина размолвок одна и та же: Катьке во что бы то ни стало надо доказать, что она, во-первых, без пяти минут барышня, что, во-вторых, красивей ее и что, в-третьих, в нее влюблены поголовно все окрестные мальчишки.

— Ты тоже достаточно привлекательна, — успокаивает, — но тебя портят губы. Посмотри на мои. Цветок-бутонок. А у тебя обыкновенные.

Пусть обыкновенные. Зато она в матушку, урожденную Гойер, француженку. А у француженок, подслушала однажды у взрослых, зовущий взгляд. Зовущий, понятно? А твой распрекрасный цветок-бутонок никого не зовет, успокойся!

В женскую гимназию на Литейной они с Катькой поступили в одно время, сидели в классе за одним столом, ходили попеременно друг к дружке делать домашние уроки. Вот и сегодня пишут в Катькиной комнате сочинение: «Какое время года вы больше любите?»

Катька то и дело отвлекает:

— Карамельку хочешь? Нет?.. У дворника собака сбесилась, слышала? Крысу, говорят, бешеную поймала у забора, та ее покусала, и собака сбесилась. Увезли куда-то в клетке.

— Катя, пожалуйста! Сбила с мысли.

— Молчу, молчу.

Через минуту опять:

— У меня намечается роман.

— Роман? — отрывается она от письма. — Что-то новое.

- Ни за что не догадаешься: с кадетом Коломийцевым. Один раз уже поцеловались.
- Интересно.

Врет, скорее всего. Неделю назад уверяла, что в нее влюбился старшеклассник Фишер из соседней гимназии, она на его чувства не ответила, он бросился с горя в пруд, чудом удалось спасти. А потом шли после уроков, мимо на извозчике какой-то мальчуган с нянькой проезжал, поклонился Катьке. «Женя Фишер», — сказала Катька. «Тот, который из-за тебя в пруд бросился?» — «Да, а что?» — «Да он же совсем маленький, а ты говорила старшеклассник». — «Это он на извозчике таким маленьким кажется, ему четырнадцать лет». Ну, ни вруша!

- А ты в кого-нибудь влюблена?

Она в растерянности. Сказать, что влюбиться ей просто не в кого, — значит уступить Катьке в споре о привлекательности.

— Влюблена, и даже очень, — слышит словно со стороны собственный голос. — Но сказать об этом сейчас не могу, это страшная тайна.

Удивительно: действительно верит в эту минуту, что влюблена. Вопрос: в кого? Думать, думать...

«Прошлой весной мы ездили за город, — пишет в тетрадке. — Пух цветущих деревьев летел и кружил в воздухе, щебетали веселые птицы, пахло водой, медом и молодой весенней землей. Я собирала на лугу незабудки, и на руку мне села божья коровка...»

- Ой, ну не знаю я, что писать про чертовое лето, — бубнит Катька.

- Напиши, как лягушки квакают в болотах, — откликается она.

- Ну тебя! Я серьезно.

Господи, мало ли что можно написать про лето! На троицкие праздники они гостили в матушкином имении на Вольни. Народу понаехало тьма, колясок полон двор, в просторных комнатах с распахнутыми окнами разбросаны охапки душистого тростника, на каждую дверь повесили березовые ветки. Вечером она с сестрами насобираала цветов. Связали букеты, спрятали в траве под большим жасминовым кустом, чтобы не завяли до завтра, когда пойдут в церковь.

К обеду ждали соседа, помещика Беспалова, которому, как говорили, батюшка помог выиграть в суде какое-то дело. Помещик с пушистыми усами приехал верхом на белой красивой лошади. Поднялся на веранду, где был накрыт стол, поклонился, поцеловал руку маман, обнялся с отцом. Рассказывал за обедом разные истории, гости валились со смеху, маман восклицала, утирая платочком глаза: «Не могу, уморил, батюшка!»

Во время десерта во двор зашел сухонький старичок, глядел из-под руки на обедающих, матушка велела прислуживавшему за столом дворецкому снести ему кусок пирога. Она попросила у отца грошик для нищего, помещик, услышав, извлек из кошелька тяжелый пятак: «Возьмите, барышня».

Когда она подошла к забору, сидевший на скамейке старичок выгребал пальцем капусту из пирога, совал в рот, а корочки отламывал и прятал в мешок. Она растерялась. Положила осторожно монетки на траву, поближе к заляпанным грязью лаптям, из одного выглядывал уродливый черный палец, пошла, не оглядываясь, к веранде...

- Надоело, не могу больше! — кричит над ухом Катька. — Давай танцевать...

Вытащила из-за стола, закрыла по комнате.

Визит к Толстому

В доме пишут решительно все, чернила льются рекой. Батюшка книги по уголовному праву, матушка письма родным и приятельницам, сестры слезливые стихи в тщательно оберегаемых от посторонних глаз дневниках с целующимися голубками. Пишет

каракулями нянька в замусоленном Часослове, чтобы, упаси бог, не пропустить важную службу в церкви, пишет записочки незнакомому кавалеру горничная, прячет, как героиня пушкинского «Дубровского», в дупле старого платана на заднем дворе, сама видела несколько раз.

У брата-кадета нашли обрывок стихотворения:

Что было бы, если
к нам в корпус Лесли
явилась вдруг?

(Лесли, знали все, была хорошенькая институточка, знакомая Коленки.)

Лицеист Вадим выразил в стихах трагическое состояние, связанное с переэкзаменовкой по алгебре:

О, зачем ты так жарко молилась в ту ночь,
За молитвой меня забывая,
Ты могла бы спасти, ты могла бы помочь,
Ты спасла бы меня, дорогая!

Пишет иногда и она стихи. Совсем нетрудно, рифмы сами лезут в голову. «Людмила — немила», «ученье — мученье», «Катька Чепцова — сонная корова». Соревноваться в стихосложении среди своих что-то вроде бросания друг в дружку подушек перед сном. Лидия заходит в классную комнату, где они с Машей готовят уроки, и с порога:

— Зуб заострился, режет язык.

Маша, не поднимая головы:

— К эдакой боли никто не привык.

Лидия, оживляясь:

— Можно бы воском его залечить... Ну? Надя!

— Но как же я буду горячее пить? — включается она в игру.

Маша мгновенно:

— Не буду я с вами говядину жрать.

Она, торжествуя:

— Так будешь, как заяц, морковку жевать!

Хохот, поцелуи...

Дурачиться стихами можно сколько угодно. Писать эпиграммы, чувствительные послания в дневниках по случаю дней ангела или рождения. Но избави бог увлечься этим всерьез. Увидят корпящей над листом бумаги с вдохновенным лицом, начнут скакать вокруг, как сумасшедшие, на одной ножке: «Пишет, пишет!»

Утаила от родных сочиненную по случаю юбилея гимназии торжественную оду, которая заканчивалась словами: «И пусть грядущим поколениям, как нам, сияет правды свет здесь, в этом храме просвещения, еще на много, много лет!» Прочли бы, со свету сжили.

Написала как-то смешливую «Песнь Маргариты». Набралась храбрости, понесла в редакцию сатирического журнала «Осколки», в которых печатался Чехов. Редактор Лейкин, старый, хворый, глянул мимоходом:

— Ответ прочтете в «Почтовом ящике». До свидания.

Прочла через месяц: «Песенка Маргариты никуда не годится». Ну, и черт с вами! Писательство ее не привлекает, она мечтает стать художницей. По совету Катьки («Сбудется, кровь из носу!») написала о желании на листке бумаги, сжевала, плюнула через левое плечо, выбросила под колеса брички, когда ездили всем классом собирать бота-

нический гербарий в Царскосельский парк. И вот сюрприз: Маша, которая старше ее всего на три года, не просто, оказывается, всерьез увлечена сочинением стихов, но приналась однажды: посвятит этому жизнь, станет русской Сафо.

Сафо, ничего себе!..

Деловые интересы отца вынуждают их переехать в Москву. Незнакомый город, новая гимназия, отсутствие друзей. Спасение от одиночества — книги. Она запоем читает: Тургенев, Гоголь, Достоевский. На первом месте Толстой. В младших классах перечитала несколько раз «Детство» и «Отрочество», сейчас открыла для себя «Войну и мир». Удивительное чувство: словноходишь в дом, где все знакомо, близко, все люди свои, родные.

Она влюблена в князя Андрея Болконского, а Наташу Ростову люто ненавидит. Как она могла ему изменить, такому необыкновенному!

— Знаешь, — делится мыслями с Машей, — Толстой, по-моему, неправильно про нее написал. Не могла она никому нравиться. Посуди сама. Коса у нее была негустая, недлинная, губы распухшие. Жениться на ней князь Андрей собирался из одной только жалости...

Поздний час, дом затих. Лежа в постели, она перечитывает при свете ночника невыносимые, рвущие душу страницы романа. Перед глазами Бородинская битва, князь Андрей ходит по полю, прислушиваясь к шуму снарядов и считая шаги. Почему он не кинулся на землю, когда рядом разорвалось ядро? Ведь адъютант ему крикнул: «Ложись!» Думал о том, что не хочет быть убитым, и одновременно, что на него смотрят солдаты. Стыдился...

Как он умирал, невозможно читать! Мгновение ей кажется: Толстой придумал это нарочно, стоит перелистнуть страницу, и все окажется не так, врачи его спасут. «Надо было умереть не ему, а мерзкому Анатолю Курагину», — думает в слезах.

Поцеловала книгу, закрыла, положила на тумбочку.

Утром, растрепанная, с опухшим лицом, пошла к сестре.

— Маша, — сказала, — я решила ехать к Толстому. Просить, чтобы он спас князя Андрея. Пусть даже женит его на Наташе, лишь бы не умирал.

— Не сходи с ума...

Не слушая, она побежала к двери. Отыскала в салоне Людмилу, спросила, может ли автор изменить что-либо, если книга уже издана?

— Может, барышня. Авторы иногда для нового издания делают исправления.

«Решено, еду!»

Катя сказала, что к Толстому ехать надо непременно с его карточкой и просить подписать, иначе он и разговаривать не станет.

— Оденься скромнее, он расфуфыренным отказывает.

Карточку, где он снят верхом на лошади, она купила за алтын в ближайшей книжной лавке. Одеда гимназическую форму, косу повязала синим бантом. Постояла у зеркала: скромная, хорошенькая.

Улизнуть было несложно, из провинции приехали родственники, в доме шум, суета. Она уговорила сопровождать ее старую няньку, матери сказала, что идет к подруге за уроками.

В Хамовники, где жил в это время Толстой, добирались в нанятой скрипучей коляске с жесткими сиденьями, ближе к усадьбе путь перегородила стража.

— Пеши идите, тут недалеко, — посоветовал извозчик.

В очереди у ворот они простояли больше двух часов, посетителей впускали небольшими группами, нянька сопреда на жаре, ахала и охала. Она мысленно произносила слова, которые собиралась ему сказать. Под мышками было мокро, чесалось.

«Опозорюсь, — стучало в мыслях, — уйти, пока не поздно!»

— Пожалуйте, барышня, — приоткрыл дверь дежурный.

Поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж, миновали веранду, вошли в переднюю. Мимо прошла, весело что-то напевая, молодая дама, за ней усатый господин в чесучовой паре.

— Как вас величать? — негромкий голос.

Господи, он! Возник, точно из-за стены Маленький, исхудалый, с белой бородой по пояс, совсем непохожий на свои портреты.

— Надя... Надежда.

— У вас ко мне какой-то вопрос?

Он смотрел выжидающе.

Все разом вылетело из головы: князь Болконский, Наташа, придуманные слова...

— Вот, — протянула фотографию, — просили подписать.

Он взял из рук фотографию, ушел в соседнюю комнату, вернулся через пару минут, протянул снимок.

Она сделала реверанс.

— А вам, старушка, что? — покосился он на няньку.

— Ничего, я с барышней.

В приемную входили какие-то нарядно одетые люди с букетами цветов и коробками, перевязанными цветными лентами.

— Идем, — потянула она няньку за руку.

Прощай, июнь!

Всю весну она проболела, на каникулы бонна повезла ее отдохнуть и подлечиться в имение тетки Софьи Александровны под Житомиром. Приехали на Варшавский вокзал за полчаса до отправления, отбили телеграмму, носильщик внес в купе вещи, она стояла в коридоре у окна, махала платочком стоявшей под зонтиком матушке и беззвучно ревевшей с перекошенным от горя личиком Леночке в соломенной шляпке.

Двое с половиной суток утомительного пути. Стоянки на станциях, смены паровоза. Жевала без аппетита в вагоне-ресторане жареные немецкие сосиски (от первого отказалась), пила ледяную сельтерскую.

— Пейте небольшими глоточками, мадемуазель, — наставляла сидевшая напротив бонна, евшая с удовольствием рыбную селянку. — Простудите горло.

— Я так и делаю, мадам.

На перроне в Бердичеве ее заключила в объятия дородная тетушка в необъятной юбке.

— Худая, боже, чем вы там у себя в Петербурге питаетесь! Познакомься, дитя...

Из-за тетушкиной спины выдвинулся рослый мальчик в светлом гимназическом кителе и фуражке, щелкнул каблуками:

— Григорий, ваш кузен.

У него был нос, который бы не мешало подрезать.

— Очень приятно.

Детей у тетушки, кроме носатого Гриши, было еще трое. Пятнадцатилетний Вася и две младшие девочки, Маня и Любочка.

Кузины с благоговением осматривали привезенный ею гардероб. Голубую матроску, парадное пикейное платье, белые блузки.

— А-ах! — картинно закатывала глазки Любочка.

— Я люблю петербургские туалеты, — говорила Маня.

— Все блестит, словно шелк! — добавляла Любочка.

Потащили за ворота:

— Идемте гулять!

Качали на качелях, провели по саду, показали густо заросшую незабудками речку, где утонул в прошлом году теленок.

— Засосало, — таинственно сообщила Маня, — и косточки не выкинуло. Нам в том месте купаться не позволяют.

Все это в первые дни. Позже, когда к ней привыкли, отношение изменилось. Гриша перестал обращать внимание. Раз только, встретив у калитки с книгой в руках, спросил:

— Что изволите почитать?

Не дожидаясь ответа, ушел.

Ябедник и задира Вася расшаркивался комично в коридоре, не давал пройти.

— Мамзель Надежда, не будете ли так добры изъяснить, как по-французски буерак?

И тут же дурацкий хохот. Скучно, неприятно, утомительно.

«Как у них все некрасиво», — думала.

Доившие коров горничные на обращение откликались «чаво?». В обед ели карасей в сметане, пироги с налимом, поросят. За столом прислуживала похожая на солдата огромная девка в женской кофте с черными усами. Изумилась, узнав, что великанше всего восемнадцать лет.

Тетка была глуховата, весь дом поэтому кричал. Высокие комнаты гудели, собаки лаяли, кошки мяукали жуткими голосами, прислуга гремела тарелками, кухни ревели, кузены ссорились.

Она уходила прочь от этого бедлама в палисадник с книжкой Алексея Толстого в тисненном переплете, читала вслух:

Ты не его в нем видишь совершенства,
И не собой тебя прельстить он мог,
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог.

Задумывалась надолго...

«Ау, — кричали из дома. — Надя-а! Чай пить!»

Снова шум, толкотня, звон посуды. Собаки бьют по коленям твердыми хвостами, кошка вспрыгивает привычно на стол, поворачивается задом, мажет хвостом по лицу. Гриша нападает на усатую Варвару за то, что та не умеет служить.

— Ты бы замолчал, воин, — выговаривает ему круглый седовласый дядя Тема. — Смотри-ка, нос у тебя еще больше вырос.

— Нос огромный, нос ужасный, ты вместили в свои концы, — декламирует нараспев Вася, — и посады, и деревни, и плакаты, и дворцы...

— Дуррак, свинья! — в ответ.

— Такие большие, а все ссорятся, — рассказывала тетка. — Два года тому назад взяла их с собой в Псков. Пусть, думаю, посмотрят древний город. Утром пошла по делам, говорю: вы позвоните, велите кофе подать, а потом бегите город посмотреть, я к обеду вернусь. Возвратилась в два часа, что такое? Шторы, как были, спущены, оба в постелях. «Что, — говорю, — с вами, чего вы лежите-то? Кофе пили?» — «Нет». — «Отчего?» — «Да этот болван не хочет позвонить». — «А ты-то чего сам не позвонишь?» — «Да вот еще! С какой стати? Он будет лежать, а я изволь, как мальчишка на побегушках». — «А я с какой стати обязан для тебя стараться?» Так и пролежали, болваны, до самого обеда...

В Артемьев день наехали гости. Прикатил на беговых дрожках игумен, огромный, широколобый, похожий на васнецовского богатыря.

— Какие погоды стоят, — говорил за столом, — какие луга, какие поля. Июнь! Ехал, смотрел, и словно раскрывалась предо мной книга тайн несказанных.

До чего замечательно выразился: «книга тайн несказанных» — записать непременно в альбом!

Вечером сидела перед зеркалом в ситцевом халатике, разглядывала худенькое свое личико в веснушках. В доме не спали, слышно было, как Гриша катает в бильярдной шары. Дверь внезапно распахнулась, влетела усатая Варвара, красная, оскаленная, возбужденная.

— А ты чаво не спишь? Чаво ждешь? Чаво такого? А? Вот я тя уложу! Я тя живо уложу...

Схватила в охапку, водила пальцами по ребрам, щекотала, хохотала, приговаривала:

— Чаво не спишь? Чаво такого не спишь?

Она задыхалась, повизгивала от щекотки, отбивалась, сильные руки не отпускали, перебирали косточки, поворачивали...

— Пусти! — выдохнула с трудом. — Я умру-у! Пусти!..

Сердце колотилось, перехватило дыхание.

Увидела вдруг ошеренные зубы Варвары, побелевшие глаза, поняла: усатая великанша не шутит, не играет — мучает, убивает, не может остановиться...

— Гриша! — закричала что было сил. — Гриша!

Тот вбежал в спальню с кием в руке.

— Пошла вон, дура! — толкал Варвару к порогу.

— Что уж, и поиграть нельзя... — вяло протянула та.

— Вон, я сказал!.. Вы, Надюша, не бойтесь, — погладил плечо, когда Варвара вышла, — она не посмеет вернуться. — Пошел к двери, обернулся: — Я буду в бильярдной, не бойтесь. Закройте дверь на задвижку...

Милый, оказывается, добрый, совсем не такой, как казался, и нос вполне ничего. И Вася, в общем, не полный дуралей. Полез опять с каверзным вопросом, она его отбрила, на другой день помог достать в библиотеке с верхней полки книгу.

«Чихать будете, — ухмыльнулся, — и чесаться от пыли».

Ночью, перед тем как лечь, она погасила свечу, в комнате от этого неожиданно сделалось светлее. Толкнула дверь на веранду, спустилась в сад. Боялась стукнуть каблучком, зашуршать платьем — такая несказанная тишина стояла на земле. Молчали деревья, птицы, притихли маленькие зверьки в траве, невидимая плескалась неподалеку река. «Книга тайн несказанных», — вспомнила слова игумена.

Подумала почему-то о Грише: могли бы они подружиться? Наверное, могли бы, не случись скорый его отъезд.

Пришла пора уезжать и ей. Утром после ночной грозы было душно, в воздухе парило. Они с бонной сидели одетые по-дорожному в пахнувшей кожей и теткинскими духами коляске, с порога махали рукой заплаканная тетька, дядя Тема, кузины, Вася.

— С богом! — тронул кучер поводья.

«Прощай, июнь, буду помнить тебя всегда!»

Сестра Маша, она же Мирра

Маша своего добилась. Печатается в «Ниве», «Русском обозрении», «Северном вестнике», подписывается «Мирра Лохвицкая», так благозвучней. Стихи нарасхват, первый же сборник «Стихотворения» удостоен Пушкинской премии. Утерла нос дутым знаменитостям: символистам, футуристам, акмеистам, имажинистам и прочим фокусникам. Те выпустят жиденькую книжицу на серой бумаге с понятными им одним рифмованными ребусами, дарят друг другу, читают на своих посиделках, а каждая новая

книга сестры — событие, встречается хвалебными отзывами, исчезает на другой день после выхода с книжных прилавков.

У Маши своя жизнь. Обручилась, окончив училище и возвратясь после кончины отца вслед за семьей в Петербург, с соседом по даче — инженером-строителем Евгением Жибером, живет в просторной квартире на Сергиевской. Мать двоих чудных детишек, домоседка. Коллеги жалуются: вытащить Лохвицкую из дому на писательское собрание, попросить выступить на литературном вечере — занятие не из легких.

Сидя под крышей беседки во внутреннем дворике, она перечитывает новую книжку сестры. Странно, всегда считала, что пишущие выражают на бумаге самих себя. Читаешь Пушкина: «Я вас любил, любовь еще, быть может...» Он, никто другой. Лермонтов, Фет, Майков — в любой строчке чувствуешь автора.

А у Маши? С одной стороны:

Мой светлый замок так велик,
 Так недоступен и высок,
 Что скоро листья повилик
 Ковром заткнут его порог.
 И своды гулкие паук
 Затянет в дым своих тенет,
 Где чуждых дней залетный звук
 Ответной рифмы не найдет.
 Там шум фонтанов мне поет,
 Как хорошо в полдневный зной,
 Взметая холод вольных вод,
 Дробиться радугой цветной.
 Мой замок высится в такой
 Недостижимой вышине,
 Что крики воронов тоской
 Не отравили песен мне.
 Моя свобода широка,
 Мой сон медлителен и тих,
 И золотые облака,
 Скользя, плывут у ног моих.

Конечно же, это Машенька. Мечтательная, застенчивая, редкостно красивая. Ее голос.

И тут же рядом невообразимое:

Ты сегодня так долго ласкаешь меня,
 О, мой кольчатый змей.
 Ты не видишь? Предвестница яркого дня
 Расцветила узоры по келье моей.
 Сквозь узорные стекла алеет туман,
 Мы с тобой как виденья полуденных стран,
 О, мой кольчатый змей.
 Я слабею под тяжестью влажной твоей,
 Ты погубишь меня.
 Разгораются очи твои зеленой,
 Ты не слышишь? Приспешники скучного дня
 В наши двери стучат все сильней и сильней,

О, мой гибкий, мой цепкий, мой кольчатый змей,
Ты погубишь меня.
Мне так больно, так страшно. О, дай мне вздохнуть,
Мой чешуйчатый змей!
Ты кольцом окружаешь усталую грудь,
Обвиваешься крепко вокруг шеи моей,
Я бледнею, я таю, как воск от огня,
Ты сжимаешь, ты жалишь, ты душишь меня,
Мой чешуйчатый змей!

Ужас что такое! Постельный стон развратной кокетки в объятиях сатира! В котором из двух стихов Маша? В обоих? Разве такое возможно?

Многим нравятся именно эти ее стихи на грани неприличия. Вакхические, как их называют. Почитатель ее таланта журналист Василий Немирович-Данченко написал в одной из статей, что сестра (он называет ее то «птичка-невеличка», то «маленькая фея») завоевывает всех ароматом своих песен, что все дальше и дальше оставляет за собой позади молодых поэтов своего времени, «хотя целомудренные каплуны от литературы и вопиют ко всем святителям скопческого корабля печати и к белым голубям цензуры о безнравственности юного таланта». Даже такой поборник морали, как Лев Толстой, и тот высказался одобрительно в ее адрес в газетном интервью: «Это пока ее зарядило. Молодым пьяным вином бьет. Уходитя, остынет, и потекут чистые воды».

Поди разберись...

Сестра как-то пригласила ее поехать на литературную встречу у своей приятельницы, поэтессы Ольги Чюминой. Кляла себя потом, что согласилась, это был кошмар! В небольшой гостиной, куда она вошла вслед за сестрой, было шумно, толпились вокруг накрытого стола люди. Маша, яркая, красивая, в модной шляпе, пропустила ее вперед, произнесла, обращаясь к хозяйке:

— Я позволила себе привести к вам сестру...

Она почувствовала, что начинает краснеть.

— Надя, подойди же...

Она присела неловко в книксене, щеки горели.

— Пишет? — участливо спросил мужчина с элегантною эспаньолкой. («Бунин? Похоже».)

— Пишет, кажется...

Небрежно, между прочим.

Она прошмыгнула в дальний угол, села. Битых два часа делала вид, что слушает, хлопала выступавшим. Никому не нужная, ноль без палочки, сестра знаменитой Мирры Лохвицкой.

Заехала спустя неделю к Маше. Поговорить, понянчиться с племянниками. Отобедали, нянька увела малышей в детскую. Сестра снова была в положении, лежала на софе в капоте, все такая же красивая, с чудной своей чуть утомленной улыбкой.

Что ее угораздило, непонятно: захватила написанное накануне стихотворение. Решила прочесть, услышать отзыв поэтессы, о которой говорили, что она, как никто другой в России, приблизилась по чистоте и ясности стиха к Пушкину.

— Ну, прочти, — услышала в ответ.

Без интереса, равнодушно.

— Да ладно, — смешалась она, — давай в следующий раз.

— Читай, читай, я слушаю.

— Оно коротенькое... — Она достала из сумочки листок.

— Замечательно, читай.

«Мне снился сон безумный и прекрасный, — читала она нарочито монотонно, — как будто я поверила тебе. И жизнь звала настойчиво и страстно меня к труду, свободе и борьбе... — Маша слушала закрыв глаза. — Проснулась я, сомнение навеяла осенний день глядел в мое окно. И дождь шумел по крыше, напевая, что жизнь прошла и что мечтать смешно...»

— Ну вот, — закрыла тетрадку. — Что скажешь?

— Я плохой критик, Надя, — сестра сладко зевнула. — Давай чайку попьем, а?

— Нет уж, пожалуйста!

— Ты собираешься это напечатать?

— Не знаю, пока не решила.

— Не делай этого.

Мягко, снисходительно, как малому ребенку.

— Что? Так плохо?

— Не в этом дело, Надюша. Сама посуди. Есть поэтесса Лохвицкая. Вдруг является еще одна, тоже Лохвицкая. Смеху не оберешься. Станут язвить, что мы пишем друг за дружку, твои стихи приписывать мне, мои тебе. Цирковые гимнастки на проволоке Дунькины-Варшавские...

Слушать было невыносимо.

— Дунькины-Варшавские в самом деле смешно, — она поднялась с кресла, спрятала листок в сумочку. — Успокойся, пожалуйста, я не собираюсь быть тебе помехой. Писание стихов для меня такая же забава, как разгадывание крестословиц.

— И прекрасно. Пиши для себя. Может быть, когда-нибудь в будущем, когда я состарюсь...

— Извини, — перебила она ее, — мне надо идти. Мы с подругой сегодня идем в концерт.

— Посидела бы, — Маша нежно гладила себя по животику. — Муж звонил, скоро придет. Поужинаем, поиграем в четыре руки. Ты же любишь.

— В другой раз, хорошо? — направилась она к двери. — Поцелуй за меня на ночь своих малюток.

Избранник

Никогда бы себе в этом не призналась, это поселилось в глубинах сознания: превзойти сестру. Во всем. Та проговорила однажды, что инженера своего по-настоящему не любит.

— Это у нас, у девушек, порог, через который надо переступить. Иначе не войти в жизнь.

«У меня будет по-другому, — решила она твердо. — Любовь, испепеляющая страсть. Заслужила. Смеюсь по-русалочьи, хороша собой».

В гимназии у нее было немало поклонников. Писали любовные письма, умоляли о свидании — все было не то, чувства ее оставались нетронутыми. Дома, вертясь у зеркала, весело напевала: «Это вовсе не секрет, не секрет, не секрет, я прекрасна, спору нет, спору нет, спору нет!»

Избранник ее будет похож на князя Болконского. Брюнет, мужественный, стройный, возможно, военный. «В ваших руках, Надин, моя жизнь (стоя на коленях). Жду покорно приговора». — «Встаньте, князь, я согласна...»

Вышло, как и не думала.

Осенью умер от чахотки двоюродный брат Георгий, они всей семьей поехали в Тихвин. Во время отпевания в заполненном людьми соборе обратила внимание: с нее не

сводит глаз рослый красавец с роскошными усами. После погребения шли толпой по дорожке к воротам, он ее нагнал.

— Владислав Бучинский, — вежливо поклонился. — Давний почитатель вашего батюшки. Слушал его лекции по уголовному праву.

Она вскинула на него взгляд:

— Надежда.

Люди рассаживались по коляскам, матушка махала ей рукой.

— Извините, меня зовут.

Во время поминок он сидел за столом наискосок от нее, взглядывал поминутно. Она от волнения глотала без разбора приторную кутью, блины, куски рыбного пирога. Колотилось гулко сердце, мысли мешались. Отодвинула кресло, вылетела на веранду.

За спиной послышались шаги.

— Надежда Александровна...

Он был выше ее на голову. Глухо застегнутый темный сюртук, вьющиеся волосы.

— Я сейчас уеду, — протянул сложенный листок, — прочтите, когда вернетесь домой.

Вышел, поклонившись.

В катившем почтовым трактом среди густого леса тесном омнибусе, заполненном пассажирами, она прочла короткую записку:

«Я полюбил Вас с прошлого Вашего приезда, когда Вы гостили с сестрами у тетушки Елизаветы Тимофеевны. Мне тридцать лет, по Вашему представлению, наверное, старик, я ни на что не надеюсь. Единственная просьба — откликнитесь. Я живу по адресу: Новгородская губерния, Тихвин, Богородицкая улица, дом купца Воротникова».

Ответ она начала писать еще в дороге.

«Уважаемый господин Бучинский! — Не годится, лучше без обращения... — Не знаю, что Вам сказать... — Глупо... — Я в смятении, все случилось так внезапно...»

Всю осень они переписывались, два-три письма в день с каждой стороны. В доме был переполох, матушка пила лавровишневые капли от нервов, тетушка Александра Александровна говорила басом: «Только что институт кончила и сразу замуж, молодчина!» Другая тетушка, Александра Давыдовна, высказалась наедине так: «Он, в общем, кажется, дурак. Если при этом дворянского рода и с деньгами, так чего же тебе еще?»

Он просил новых фотографий, присылал подарки. Жить на расстоянии друг от друга становилось невыносимо, под Новый год он приехал просить ее руки.

Увидев его в окно вылезавшим из саней, она кинулась в переднюю.

— Надежда Александровна... — сжимал ей нервно ладони. В морозной шубе нараспашку, взволнованный, прекрасный.

— Да, да, идите, — отступила она к стенке, — матушка в будуаре.

«Не даст согласия, убежим, — решила. — Сегодня же!»

Стояла в своей комнате у подоконника, считала минуты.

Дверь отворилась, показалась мать с иконой в руках, он следом. У нее подкосились ноги...

Венчались они в Тихвине. Она, христианка, шла под венец за инославного, католика, церковные правила требовали в этом случае соблюдения многочисленных формальностей, отняли бы время. В провинциальном Тихвине, где у дяди, известного предпринимателя, были знакомые и друзья в чиновных конторах и среди церковного руководства, заполучить необходимые бумаги и подписи было намного проще, чем в столице.

Двенадцатого января 1892 года после обряда венчания в Спасо-Преображенском соборе она стала замужней дамой, Надеждой Бучинской. Зажить семейно сразу не удалось. Владислав искал подходящее жилье, она, уже в положении, обреталась сначала

во временно нанятой квартире неподалеку от городской мельницы, потом в усадьбе родственников Галично. Лежала после обеда в летнем саду в гамаке, листала книгу «Мать и дитя» с иллюстрациями. Зародыши, утробные младенцы, животы в разрезе — страшно. А читать надо, следует подготовить себя к неизбежному.

«Через пять месяцев, — не выходило из мыслей. — И ничто не предотвратит, не остановит. Отчего на свете все так тревожно? Должно ведь быть хорошо, радостно, когда ждешь ребеночка. Подумать только: не было ничего, и вдруг является новый человек, беленький, тепленький, свой, особенный...»

— Тебе, Надюша, необходимо готовиться к материнским обязанностям, — повторял муж.

Холодное какое слово — обязанности.

«Я своего ребеночка накормлю, — думала, — не потому, что обязана, а потому, что это мне в радость. В радость, неужели трудно понять?»

Над головой сухо шелестят верхушки сосен, холодит колени ветерок. Вытянув руки, она смотрит, какие они тонкие, голубые, бессильные. Ничего не удержат, даже маленького...

В конце лета им удалось наконец снять небольшой дом на Московской улице с видом на реку и проплывавшие мимо суда-«тихвинки», направлявшиеся с грузом в Новгород. Здесь в начале ноября в присутствии акушера, медицинской сестры и няни Евдокии Матвеевны появилась на свет ее первенькая, Валерия. Беленькая, тепленькая, своя. В радость!

Прожили они в Тихвине чуть больше года, занимавший должность участкового следователя супруг получил новое место работы, судьей в город Щигры Курской губернии.

Степной городок, унылый до ужаса. Летом пыль, зимой снегу наматает выше уличных фонарей, весной и осенью такая грязь, что однажды на ее глазах на соборной площади чуть не утонула тройка, лошадей вытаскивали веревками. Раз с мужем они за сиделись в гостях, вышли, а улица успела так раскиснуть, что перейти на другую сторону было невозможно. Пришлось заночевать на постоялом дворе — домой к утру их доставил приехавший на телеге кучер.

Однообразные будни. Распоряжения по дому: что купить, что готовить на обед, что на ужин. Из салона слышно, как старая нянька разговаривает в детской с полуторагодовой Валерочкой: «Вот не будешь меня слушаться, уйду к деткам Корсаковым, они свою нянечку давно ждут».

Выжила из ума: детки Корсаковы сами давно старики. Один генерал в отставке, другой взят под опеку за разгул.

Прислуга в городишке отвратительная. Выпивают, курят табак, по ночам впускают к себе в окошко местного донжуана, безносого водовоза. Выбраться некуда. Есть клуб, убогий, с жуткой мебелью. Чиновники ходят друг к другу играть в карты, дамы сидят по домам, сплетничают, раскладывают пасьянсы. Вышла как-то побродить вечером — тишина, луна светит, ни одного огонька в окнах, из степи несет теплой пылью. Остановилась у соседнего дома, где жил знакомый доктор. Жутко, словно по покойнику, кричала за забором докторова цесарка, у которой, зарезали накануне самца. Вынести было невозможно, зажав уши, она кинулась прочь.

— Теперь я понимаю, как люди вешаются, — сказала, вернувшись, мужу.

Владислав, слава богу, окончательно разочаровался в профессии, принял решение оставить службу, объявил однажды: к черту опостылевшее чиновничество, едем в наше родовое имение под Могилевом, будем жить для себя.

— Станешь помещицей, барыней-сударыней.

— Не возражаю, дорогой, — отозвалась она. — В этой роли мне быть еще не доводилось.

Барыня Бучинская

«Я точно перечитываю заново Тургенева, — писала она матери. — Все, что меня окружает, живые страницы из его книг. От хандры не осталось и следа, дышу полной грудью. Приезжай, здесь тебе понравится...»

— Барыня! — слышится с утра голос горничной Адели. — Прикажете одеваться?

— Спасибо, я сама.

Все ждут от нее распоряжений. Будут ли гости, в каком количестве, на сколько дней? Что на обед, что на ужин, как одеть Валерочку?

Муж с утра пораньше собрался улизнуть. Забежал на минуту, благоухает туалетной водой.

— Я сегодня в клубе, там же обедаю, — пощекотал усами. — Не скучай.

Она смотрит в окно, как он садится в коляску, выезжает за ворота, выбирается на дорогу.

Во дворе, по обыкновению, оживленно. Проехала телега с сеном, привезли на одноколке мешки с мукой, повар Василий и кухарка тащат из свинарника отчаянно визжащую свинью.

— Серафима, позовите конюха! — кричит она вышедшей на крыльцо с корзиной белья прачке.

— Наше почтение, — топчется спустя некоторое время у порога рыжебородый Тихон. — Прокатиться надумали?

— Надумала, — поворачивается она от зеркала. — Варочку запрягите.

— Варочка, барыня, нынче не в себе. Нервная, козлит. Гон, видать, скоро. Лучше, думаю, Орлика... Пашку кликнуть прикажете?

— Не нужно, поеду одна.

— Слушаю, — пятится он к выходу.

Она идет через двор в костюме для верховой езды: узкая кофточка, длинная суконная юбка, перчатки, легкая шляпка с вуалеткой, сапожки с отворотами, хлыст в руке, хороша неописуемо! Отвечает легким поклоном на приветствия, входит через распахнутые ворота в полумрак конюшни.

Привычный запах прелого сена и навоза, фыркание из-за перегородок. Тихон выводит из стойла оседланного пузатенького Орлика, тот ее узнал, косит глазом под светлыми ресницами. Ногу в стремя, оп-ля! — она в седле, легкое движение поводьями.

— С богом, — Тихон вслед, — не гоните шибко.

Узкая накатанная колея среди зреющей пшеницы, Орлик споро взбирается на косягор, она оборачивается. Внизу залитая солнцем усадьба со службами, парком, зеркалом пруда под ветлами. Мельница, сукновальня, корчма на опушке березовой рощи. Ее дом, семейное гнездо ее детей (разумеется, будут еще дети), место, где они с мужем когда-то состарятся, увидят взрослых внуков...

«Бог мой, что за мысли?»

Привстав в седле, она дает легонько шенкеля, пускает Орлика в намет. Свежий ветер в лицо, ошметки грязи из-под копыт, радость от бездумной бешеной скачки.

Спешилась в заветном местечке на берегу Сожа у мшистого валуна. Стреноженный Орлик щиплет неподалеку траву, она прилегла на теплом песочке. Ослабила пояс, потянула повыше юбку, раскинула по сторонам ноги.

Бездонное небо над головой, рощи, перелески на той стороне. Дымя отчаянно трубой, тянет вверх по течению груженую баржу катер. У трапа рослый мужчина в белом кителе и фуражке смотрит в ее сторону. Отдал неожиданно честь — она машинально потянула вниз юбку: неужели увидел?

Пикантное приключение, будет что рассказать Владу. Покачивается в седле, фантазирует по обыкновению, улыбается. Видит себя художницей, еще незамужней. Едет на этюды в имение родственников, работает на пленэре, катается верхом. Жаркий день, решила искупаться в речке. Разделась в укромном месте, пошла к воде. Откуда ни возьмись белоснежная яхта из-за поворота, на нее смотрит в бинокль красавец капитан. Неожиданный его визит в имение, их разговор в садовой беседке, зародившееся чувство.

Едва вернулась, успела подняться на крыльцо, бонна в дверях с озабоченным лицом. Валерочка с утра какая-то вялая, кажется, температурит, уроки лучше отложить.

Пашку немедленно за доктором! Томительное ожидание...

«Гланды, гланды... не застужать горло... не кутать без надобности... с возрастом пройдет... вот рецепт для полоскания... подержите пару дней в постели... теплая жидкая пища... в случае чего, дайте знать».

Ей двадцать первый год, Валерочке четвертый. Они не вполне сходятся характерами. В отличие от эмоциональной порывистой мамы полненькая большеголовая дочура — человек уравновешенный, спокойный, с коммерческой жилкой: с утра до вечера выторговывает у нее шоколадки. Утром не желает вставать, пока не получит любимое лакомство. Не желает без подношения идти гулять, возвращаться с прогулки, завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причесываться. Не дай бог отказать, на тебя глядят как на изверга и детоубийцу, раздается немыслимый, не вяжущийся с понятием малое дитя оглушительный рев на всю округу.

Снисходительно смотрит на мамину бестолочь, слегка даже жалеет, ласкает теплой, всегда липкой от конфет ладошкой. «Ты моя миленькая, — говорит, — у тебя, как у слоника, носик». Комплимент для нее нешуточный: красоту своего резинового слоника ставит выше Венеры Милосской.

Кроме конфет, Валерочку мало что интересует. Раз только пририсовала усы старым теткам в альбоме, проронила вскользь: «А где сейчас Иисус Христос?» И не дожидаясь ответа, попросила шоколадку. Строга насчет приличий, требует, чтобы с ней первой здоровались. Следит за порядком в имении. Прибежала как-то, и с порога:

— Кухаркина Мотья вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят!

Рождество в тот год выдалось нерадостным. Разлаживались отношения с мужем. Она старалась быть веселой, смеялась, очень хотелось жить счастливо на Божьем свете. Плакала, потому что жить счастливо не удавалось...

Дочь со слоненком под мышкой целые дни говорила про елку, надо было готовиться к празднику. Разбирала ночью выписанные тайно от Мюра и Мерелиза чудесные картонажи: попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики, маленький восковой ангел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блестках — чудо! Висел на резинке, крылышки шевелились.

«Лучше его на елку не вешать, — решила. — Валя все равно не поймет его прелести, может сломать. Оставлю себе».

Утром дочка чихнула: боже, насморк! Ходила из угла в угол, корила себя за черствость. «Ничего, что она на вид толстуха, все равно хрупкая. А я плохо о ней забочусь, не развиваю любовь к прекрасному, я плохая мать».

Накануне сочельника убирая елку, достала ангела, долго любовалась — мил необыкновенно! Веселый, румяный, роза в коротенькой толстой ручке. Такого ангела спрятать в коробочку, а в пасмурные дни, когда почтальон приносит печальные письма, и лампы горят тускло, и ветер стучит железом по крыше, тогда только позволить себе вынуть его, подергать за резиночку, полюбоваться. Повесила ангела высоко («В случае чего, не достанет»). Вечером зажгли елку, пригласили кухаркиного Мотью и прачкиного Лешеньку — праздник начался.

Валерочка вела себя мило, была со всеми ласкова, сердце ее оттаяло. Подняла на руки чудную свою лапушку лицом к ангелу.

— Ангел? — осведомилась та деловито. — Дай, пожалуйста.

Она дала.

Валерочка долго его разглядывала, гладила крылышки. Нагнула голову, поцеловала в щечку — милая ты моя!

В это время явилась соседка Ньюшенька с граммофоном, начались танцы. Она носилась с детьми вокруг елки, водила хороводы и все время думала, что надо было все же упрятать ангела, чтобы случайно не сломали...

Потеряла ненадолго из виду дочуру, искала взглядом, увидела: Валерочка стоит со смущенным видом за книжным шкафом, рот и щеки вымазаны чем-то ярко-малиновым.

— Валя, что с тобой? — кинулась к ней. — Что у тебя в руке?

Та раскрыла, улыбаясь, ладошку с прилипшими слюдяными крылышками, сломанными и смятыми.

— Он был немножко сладкий, — сообщила.

Боже, краска ведь могла быть ядовитой! Вытереть скорей язык, дать теплое питье, пусть вырвет!..

Все, слава богу, обошлось, дочь веселилась с детьми у елки, а она плакала у камина, бросая в огонь сломанные слюдяные крылышки. Подошла Валерочка, погладила снисходительно по щеке, утешила:

— Не плачь, глупенькая. Я тебе денег куплю...

Бежало время, зимы сменялись веснами, приходило лето, долгое-предолгое, наступала осень. Осыпался ближний лес, журавлиные стаи в небе, первый снег, катания на санях, праздники, именины, крестины. Выдался неурожайный год — пустые закрома в амбарах, толпы нищих за оградой, просящих милостыню. Она мать троих детей, родила близняшек, мальчика и девочку. Леночка (имя в честь любимой младшей сестренки) веселая и озорная, Янек, напротив, тихоня и затворник: сидит часами в детской, что-то мастерит, клеит, высунув язык.

Она скучает по Петербургу, по матушке, сестрам. Письма оттуда приходят редко, пишет по большей части любимая Леночка. Прислала фотографии: выросла, похорошела, того и гляди, замуж выйдет.

От Маши ни слова. Портреты в газетах и журналах, новые сборники стихов, премьеры театральных драм. Ходят слухи о ее романе с Константином Бальмонтом, самим Бальмонтом! — такое невозможно представить. Зачитывалась им, как и вся Россия, с гимназической скамьи, многие стихи знала наизусть. «Открой мне счастье, закрой глаза». «В моем саду сверкают розы белые, сверкают розы белые и красные, в моей душе дрожат мечты несмелые, стыдливые, но страстные». Волшебные строки, перезвон хрустальных созвучий вливающих в сердце с первым весенним счастьем, первой влюбленностью. Увидела его впервые въев на квартире Маши. Забежала на минуту, забыла зачем. В гостиной рядом с сестрой сидел на софе, картинно закинув ногу за ногу, знакомый по бесчисленным фотографиям Бальмонт в строгой визитке.

Она присела в поклоне, чувствуя, что краснеет, он улыбнулся, произнес по-французски:

— Здравствуйте, мадемуазель блондинка.

— Здравствуйте, монсеньор...

То ли просипела горлом, то ли просвистела. Махнула, торопясь, сестре:

— Забегу позже, пока...

Волнующие воспоминания, родной, далекий Петербург! Там жизнь. Театры, концерты, выставки художников, ученые лекции. У людей какие-то цели. Занимаются

благотворительностью, веселятся на балах, ездят к цыганам, продуваются в пух и прах за игорными столами, стреляются из-за женщин на дуэлях. А здесь, бог мой! Именины, крестины, молебствия с приходским батюшкой. Год за годом одно и то же. Бесконечные гостевания: одни гости уезжают, другие приезжают. Крики, шум, звон тарелок. Безумно веселы, говорят одновременно, не слушают друг друга, отобедав, расходятся: дамы в малую гостиную посудачить, молодежь на лужайку поиграть в крокет, мужчины в бильярдную покурить или на боковую до вечера. Монотонная череда дней точно мельничное колесо. Меховые вещи привезли из городского холодильника. Варочка в очередной раз окотилась. В соседнем лесничестве пожар. В Шепетовке волки загрызли ночью у арендатора двух собак.

Не забыть случай. Лесник затащил во двор деревенского парня: поймал на порубке. Отнял топор, наказал отработать в страдную пору, иначе в суд. Парень, злой, красивый, в распахнутой рубашке, молча слушал, смотрел затравленно на лесника. Ей было стыдно, спряталась за крыльцо, чтобы парень ее не увидел.

— Лесник у него даже пояс отнял, — поведала вечером Владиславу.

— И правильно сделал, — последовал ответ. — Иначе мы скоро без леса останемся. Странное бесчувствие...

Прокатилась в пику мужу одна за границу. Побывала в Мадриде, Риме, Париже. Свободно путешествующая русская дама, молодая, свободная, беспечная. Забота одна: напомнить тоскливому педанту, чтобы вовремя выслал деньги. На туалеты к лицу, духи, крем для рук, пудру, массаж. Вернулась, ничего этого, оказывается, не надо: ты не головокружительная кокетка, а матушка-барыня, мать подрастающих дочерей и болезненного сынишки, купленный кружевной пеньюар на ночь тебе надевать смешно, потому что получишь в нем не утренний букет от отельного донжуана, а известие из сморщенных губ ключницы о том, что две коровы передоились, а одна стельная, а остальных и считать нечего, все одиннадцать дадут разве что общими силами четыре стакана молока, и что кучер выхлестнул вороному глаз, а деревенские ребяташки клубнику обтоптали, а прачка все шелковое белье ржавчиной перепортила, а повар пьет, а садовник малину продал, а куры не несутся, а свинью скотница недоглядела, и она своих поросят сожрала, а если лакей клянется, что не свинья сожрала, а сама ключница, так это он врет, потому что живет с поваровой женой, и все они заодно и одним миром мазаны, а ей, ключнице, никаких поросят не нужно, хоть озолоти ее, а конюха напрасно выгнали, он теперь грозитя гумно сжечь, и, конечно, барыне самой за всем недоглядеть, у ней сил не хватит...

Мужа она почти не видит. Баллотируется в земские гласные, председательствует в уездном общественном собрании, член местного комитета Красного Креста. Встает после завтрака, целует торопливо в щеку: «До вечера, дорогая». В уезде сплетничают о его связи с некоей особой, содержащей модный магазин в Могилеве, ее это почти не трогает, чувства к нему давно остыли, нет близости, понимания. Теплый когда-то дом сделался немилым, дуют из щелей ледяные сквозняки. Спасение от тоски — по-прежнему книги. Весной Тургенев, летом Толстой, зимой Диккенс, осенью Гамсун...

Дети ушли с бонной на прогулку, она сидит за обеденным столом в одиночестве, есть не хочется, ковыряет безразлично в тарелке. Заглянула горничная, смотрит участливо.

— Полегче чего-нибудь, барыня? Рыбку паровую?

— Спасибо, не надо, Адель.

Идет на веранду, закуривает.

Курить стала недавно, втайне от мужа. Чистит сразу же зубы, жует лавровый лист.

— Ты, случайно, в шкафу гусара не прячешь? — шутит в спальне Владислав. — От подушки табаком несет.

— Прячу, — роняет она холодно. — Двух попеременно.
— Эх, спинку бы кто на ночь почесал... — позевывает муж. — Устал чего-то сегодня, — поворачивается на бок. — Спокойной ночи, дорогая.
— Спокойной ночи.

Пробудилась однажды в темноте спальни, объятая ужасом. Снилось лесная погода, волки.

— Влад, — закричала, — зажги скорей свечу!
— Это совершенно невыносимо! — он сидел в ночной рубашке, голос злой. — Поезжай, сделай милость, к своей умнице маменьке, которая сделала из тебя истеричку! Чудесное воспитание, нечего сказать! Днем ревет, ночью орет! Никакие нервы с тобой не выдержат!

Утром сидела непричесанная на подоконнике.

«В Америку, что ли, убежать?»

Мечтали когда-то с Леночкой, начитавшись Майна Рида и Фенимора Купера, убежать из дома в американские прерии. Сушили тайком сухари, запасались бисером для торговли с туземцами, видели себя скачущими на диких мустангах женами Ястребиного Когтя и Орлиного Глаза, охотящимися на буйволов. Не получилось: засосала жизнь. Уроки, сольфеджио, куча скучных дел. А мечта не умирала. Повзрослев, оставшись вдвоем, сидели, обнявшись, у окна, перемигивались заговорщицки:

— Убежим?

— Давай!

И радостно смеялись.

В детстве, чтобы быть счастливой, достаточно было малости. Шла шестилетней по улице, увидела, как из-за поворота вывернула конка. Белые, изумительной красоты лошади, красный вагон, люди смотрят из окон, на подножке кондуктор с золотыми пуговицами и фуражке с кокардой трубит в золотую трубу: «Ррам-рра-раа!» Будто солнечные брызги звенели и вылетали из раструба искрящимися брызгами.

— Лена, — закричала, придя домой, — я видела конку!

Ни о белоснежных конях не рассказывала, ни о красном вагоне, ни о кондукторе с золотой трубой, из которой брызгало солнце, а маленькая сестренка поняла. По выражению ее лица, радостному голосу: встретила по дороге счастье!

Все это потом куда-то ушло, краски мира потускнели, стали черно-белыми, утратила способность быть счастливой просто так. Гимназисткой девятого класса оказалась по какому-то случаю на окраине города. Июльская жара, пыль, поблизости ни одного извозчика. Стояла, озираясь, на загаженном тротуаре, увидела подъезжавшую к остановке конку. Рассохшийся, облепленный пассажирами вагон с открытыми окнами тащил из последних сил тощая кляча с распаренными боками, в печальных ее глазах читалось: «Сдохнуть бы вам всем назло, пешком потопаете по жаре». Она поднялась по ступенькам, взяла билет. Унылый кондуктор сипло протрубил в рожок. В заполненном людьми вагоне нечем было дышать, пахло раскаленным утюгом. Она нашла свободное место, села — моментально пристроилась рядом развязная личность, произнесла, дыша в лицо соленым огурцом: «Разрешите вам сопутствовать». Не говоря ни слова, она встала и вышла на площадку...

В дверь стучат, горничная принесла свежую почту. Пачка газет, казенные письма мужу. Вскрыла ножницами бандероль: настенный календарь на новый, 1901 год. Двадцатое столетие на дворе, бог мой! Прошла к окну, отогнула занавес, смотрела на сугробы во дворе, заснеженные крыши, утопавший в снегу лес. Устала от бесконечной зимы, волчьего воя за окнами по ночам. Съездить, что ли, к парикмахеру в Могилев, привести себя в порядок к Рождеству? А после заглянуть во всей красе в модный магазин мужниной пассии. Пройтись небрежно среди полок, купить что-нибудь из га-

лантереи, вызвать через приказчика хозяйку. «Так это вы? — спросить, прищурясь. — Полагала, что у мужа лучше вкус...»

Глупо как, пошло, бр-рр!

Прошла к шифоньеру, открыла створку, принялась перебирать платья, юбки. Извлекла из нижнего ящика купленную на прошлогодней ярмарке в Житомире котиковую шубку. Ни разу не надевала: зачем? Намного удобней ходить по-деревенски, в бараньем полушубке. И в валенках с калошами.

— Адель! — закричала в открытую дверь. — Поезжайте на станцию, закажите мне билет в Петербург на будущую неделю!

2.

За синей птицей

Откланялся кордебалет, вновь пошел занавес, зал гремел аплодисментами. Из-за кулис за руку с Сергеем Легатом выпорхнула бабочкой Кшесинская в диадеме и колыхавшихся ажурных тюниках поверх очаровательных ножек, только что протанцевавших на бис в стремительной круговерти тридцать два фуэте.

«Виват, Кшесинская! Bravo! Брависсимо!» — слышалось со всех сторон. Летели с балконов цветы, в проходах обгоняя друг друга, спешили к авансцене с корзинами роз, гиацинтов и лилий балетоманы. Аплодисменты то затихали, то возобновлялись с новой силой, выбегавшая на поклонь примадонна застывала у рампы, наклонив головку в грациозной позе, уносились стремглав, сопровождаемая партнером, возвращалась на очередной шквал рукоплесканий...

Створки занавеса запахнулись в последний раз, померкла хрустальная люстра, загорелся свет. Они прошли вслед за публикой к гардеробу, оделись, вышли на пронизываемую ледяным ветром площадь. Стояли, пряча руки в муфты, искали взглядами свободного извозчика.

— Ног не чую, — постукивала ногой об ногу Леночка. — Давай к каналу пройдем, там легче будет перехватить.

— Дождемся здесь, стой спокойно, — отозвалась она.

Из-за угла, со стороны служебного входа вывернули в эту минуту сани, они было кинулись навстречу. Что за дьявольщина! Упряжку вместо коней тянула с радостными выкриками группа молодежи в студенческих шинелях и фуражках, следом вприпрыжку, утопая в сугробах, шумная толпа. Сани проехали в нескольких метрах от них, промелькнула в свете фонаря накрытая по плечи меховой полостью Кшесинская в горностаевой шапочке, миг, и живописная кавалькада растаяла в снежной круговерти. Театр!

Ехали спустя короткое время в заледенелом коробке на визжащих полозьях, валились, смеясь, друг на дружку на поворотах. Согрелись за ужином мадерой, Лена по давней привычке прибежала к ней в спальню в ночной рубашке, забралась под одеяло, прижалась.

— Поговорим, да?

Заспела через минуту ровненько в бочок. Дылдочка, ласкушка, лучшая в семье, была бы милостива к ней судьба...

Она долго не могла уснуть. Думала об оставленных детях. Папочкины дочери, проживут спокойно без нее, А она без них? Наверняка она плохая мать: месяц с лишком в отъезде, а не скучает, не рвется назад. Петербург — спрут. Увлекает, кружит голову, вселяет надежды.

Неузнаваем: электрические фонари вдоль проспектов, банки на каждом шагу, модные магазины, иллюзионы, увеселительные заведения, игорные дома. Люди вокруг деятельны, возбуждены, торопятся жить. Женщины укорачивают юбки, завивают коротко волосы, в салонах до упаду танцуют фокстрот, уанстеп и танго, на благотворительных и литературных вечерах в открытую нюхают «порошок» (кокаин в аптеках продается свободно, самый лучший, немецкой фирмы «Марк», стоит полтинник за грамм).

Машу она не застала — уехала в санаторий. Жалуется последнее время на боли в сердце, ночные кошмары, лечится у знаменитых докторов.

Она купила в Пассаже последний сборник сестры. Поэтическая переключка с Бальмонтом, напоминающая стихотворный адюльтер, мрачная мистика, предчувствие смерти («Я хочу умереть молодой, золотой закатиться звездой, облететь неувядшим цветком, я хочу умереть молодой»).

Мучило сознание, что не стали с сестрой по-настоящему близкими. Что-то стояло между ними, эгоистичное, ненужное. Шла в предвечерних сумерках по набережной с книжкой, остановилась у парапета. Смотрела на хмурый, многоводный простор Невы, силуэты мостов.

«Зачем я здесь? — думала. — Хожу в концерты, обедаю в ресторанах, бездельничаю».

Записала вечером на листке давнее свое восьмистрочное стихотворение, которое в свое время высмеяла Маша.

— Обедайте без меня, я задержусь в городе, — сказала на другое утро матери.

Нашла, поплутав по коридорам мрачного строения неподалеку от Исаакя, табличку над дверью: «Иллюстрированный журнал „Север“», дождалась в приемной очереди к главному редактору, шагнула решительно за порог: будь что будет!

— Лохвицкая? — вскинул голову взъерошенный человек в пенсне, прочтя стихотворение. — Не родственница нашей этуали?

— Сестра, — отозвалась она.

— По стопам, значит. Похвально...

Поправил на увесистом носу пенсне, вновь уставился в листок.

— Мне снился сон безумный и прекрасный... — бормотал, — и жизнь звала настойчиво и страстно...

«Выхватить из рук, и за дверь», — мелькнула мысль.

— Напечатаем, пожалуй, — редактор потер переносицу. — Возможно, в следующем номере...

На заваленном бумагами столе зазвонил телефон.

— Всего хорошего, поздравляю, — он, торопясь, снял трубку. — Нижайший поклон Марии Александровне.

Она устремилась к дверям. Шла домой, как побитая собака: навязала жалкое свое восьмистишие за счет сестры, из-за имени. Литературная приживалка, тьфу!

Природа брала свое: полгода одиночества. Нервничала, томилась, одолевали желания. Пыткой было выглядеть недотрогой, игнорировать внимание мужчин. Чудом устояла от соблазна. Зашла за эклерами к «Филиппову», шла с коробкой в руках в сторону Аничкова моста. Нагнала лакированная коляска, выглянул военный, козырнул:

— Позвольте подвезти, сударыня?

Веселоглазый, щегольские усы.

Шагнуть с тротуара, и в коляску. Кому какое дело?

Растерялась, виноватая улыбка в ответ:

— Это не в моих правилах, извините.

Карета двигалась еще какое-то время рядом по обочине, прибавила ход, скрылась из виду. И все приключение...

Она успела напечатать к тому времени с десяток стихотворений в нескольких журналах, обрела знакомства в редакциях. Покровительствовавший ей сотрудник «Новой жизни» Леонид Галич привел ее однажды на одно из заседаний литературного кружка «Пятница», которым руководил известный литератор, редактор «Правительственного вестника» Константин Случевский, собиравший два раза в месяц у себя на квартире «Клуб взаимного восхищения» как едко назвал собрания на Николаевской улице кто-то из фельетонистов.

В просторной гостиной на втором этаже с диванами вдоль стен и роялем в углу было шумно, накурено, два лакея разносили на подносах чай и бутерброды. Ждали запаздывавших, звонил то и дело телефон. Час был поздний, время окончания спектаклей, концертов, кто-то протелефонировал, что едет прямо с вокзала.

Галич подводил ее то к одной, то к другой группе беседовавших, представлял:

— Знакомьтесь, наша молодая звезда Надежда Лохвицкая.

Ей пожимали руки.

— Сологуб.

— Мережковский.

— Щепкина-Куперник.

— Бунин, — поклонился элегантный мужчина с эспаньолкой.

Подошла высокая, с дымящейся пахитоской особа пронзительной красоты в мужском костюме. На шее розовая ленточка, за ухо перекинут шнурок, на котором болтался у самой щеки монокль. Задержалась, оглядела внимательно с ног до головы, пошла, не сказав ни слова, дальше.

«Зиночка в своем репертуаре», — пророкотал голос за спиной.

Бальмонт! Рыжеватый, с быстрыми живыми глазами.

— Здравствуйте, небесное создание, — поцеловал руку. — Что вы делаете в этом стойле скучных пегасов?

— Учусь брать препятствия, — нашлась она.

Шутку встретили смехом.

— Семеро одного не ждут, садимся, господа! — Случевский похлопал в ладоши. — Попросим выступить первым многоуважаемого Константина Дмитриевича.

— Виноват, не в форме, — Бальмонт устраивался поудобней на диване. — Простуда чертова. Если можно, в другой раз...

На пороге возник некто всклокоченный в клетчатом сюртуке, с папкой для бумаг. Пробежал бочком, плюхнулся рядом с ней на софу. Улыбнулся рассеянно.

— Регулярно опаздывающий Минский приглашается на плаху, — ткнул выразительно в его сторону Случевский. — Прошу, прошу, Николай Максимович! Разогрейте аудиторию.

— Чего не сделаешь ради хороших людей...

Взлохмаченный сосед вытащил несколько листков из папки, устремился на эстрадку у стены.

— Два пути, — произнес. Глянул в листок, стал выкрикивать, воодушевляясь от строчки к строчке:

Нет двух путей добра и зла,
Есть два пути добра.
Меня свобода привела
К распутью в час утра.
И так сказала: «Две тропы,
Две правды, два добра —
Раздор и мука для толпы,
Для мудреца — игра...»

Стихотворение было длинным. О проклятии, блаженстве, любви. Она слушала внимательно:

«...Моей улыбкой мир согрей,
Поведай всем, о чем
С тобою первым из людей
Теперь шепчусь вдвоем.
Скажи, я светоч им зажгла,
Неведомый вчера.
Нет двух путей добра и зла,
Есть два пути добра...»

Вернулся под жидкие хлопки на место, вытирал платком высокий лоб.

- Оваций не сыскал, — улыбнулся. — Как вам?
- Понравилось, — отозвалась она. — Особенно окончание.
- Рад, спасибо. Вы у нас в первый раз? Пишете прозу, стихи?
- Читавший с эстрады элегантный Бунин бросил недовольный взгляд в их сторону.
- На нас обращают внимание, — шепнула она.
- Да, да, извините...

Далеко за полночь они вышли вместе со всеми на крыльцо. Близок был рассвет, над крышами дальних строений светлела полоска зари. Минского дождалась служебная коляска (был, по его словам, присяжным поверенным в судебной палате). Предложил подвезти. Обнял по дороге за плечи, стал целовать, она не сопротивлялась. Все остальное было в тумане: второразрядная гостиница, тесный номер с коптящейся лампой, иступленные ласки мужчины, блаженная опустошенность.

Довез в одиннадцатом часу утра до дому, махал шляпой из коляски...

- Что с тобой? Где ты пропадала? Мы с мамой ночь не спали! — встретила ее на пороге квартиры Лена.
- Была в гостинице с мужчиной.
- Перестань, что ты такое говоришь!
- То и говорю.
- У тебя была с ним близость? — ужаснулась та.
- Самым натуральным образом.
- Как можно! Ты же замужняя женщина!
- Можно, Леноч. Поживешь с мое, поймешь. Прости, миленькая, — легонько отстранила сестру, — умираю, хочу спать.

В июле приехал с дочерьми муж (Янека оставили из-за болезни), она встретила их на вокзале. Маленькая Лена смотрела испуганно, жалась к отцу, девятилетняя Валерия в соломенной шляпке протянула руку:

- Здравствуйте, мама Надя, как поживаете?

Она к тому времени переехала на съемную квартиру в Спасском переулке, чтобы чувствовать себя свободной в общении с любовником, муж с детьми устроились в гостинице. Катались по Неве, были на представлениях в цирке. Выбрав время, она повезла девочек пригородным поездом в Петергоф — обе без интереса бродили по парку, пугали ворон, маленькую в кондитерской после того, как съела мороженое, вырвало на пол.

- Боюсь, к папуле хочу! — ревела на обратном пути в каюте речного катера.

У нее был тяжелый разговор с мужем. Приехал в светлом чесучовом костюме, вручил букет цветов и шоколадный торт в нарядной коробке. Говорил долго, витиевато, точно с судейской трибуны. Что супружеская жизнь не накатанная дорога, бывают

подъемы, спуски, темные и светлые периоды, что в отношениях мужа и жены не исключены кризисы, недопонимание — все преодолимо, если сохранить цементирующую основу: семью, верность церковной клятве, долг перед детьми.

— Семья, верность церковной клятве, дети, — повторил.

«Как я могла прожить столько с этим человеком? — смотрела она на все еще красивого, с импозантными усами Владислава. — Он же тоскливый до ужаса!»

Был кошмарный момент. Она заварила кофе, достала из буфета китайский кофейник, фарфоровые чашки, ложечки, расставила на десертном столике. Принесла и поставила на консоль вазу с цветами. Он нарезал торт. Глянул неожиданно, бросил нож. Обхватил за талию, ловил губы...

— Нет, только не это! — с силой оттолкнула она его. — Здесь не дом свиданий!

Провожала три недели спустя родных птенчиков, так и не пустивших в настороженные свои сердечки нехорошую мамочку, и официально оставшегося мужем постороннего мужчину. Шла, вытирая слезы, по перрону рядом с набиравшим скорость синим вагоном, за окном которого маячили лица девочек. «Увидимся, увидимся, увидимся», — простучали по рельсам колеса хвостовой платформы, стал тускнеть, утонул в сумеречной дали малиновый огонек стоп-сигнала.

Шла с последними провожающими к выходу, спустилась по ступеням, обогнула палисадник со свежеполитыми анютиными глазками.

«Зацветают цветы», — мелькнула в голове фраза, следом другая: «Ах, не надо! не надо!» Торопилась домой в коляске, мелькали по сторонам огни, колеса отстукивали на брусчатке: «та-та-та... та-та-та». Бросилась, вернувшись к журнальному столику, стала писать, разбрызгивая чернила, в тетрадь:

Зацветают весной (ах, не надо! не надо!),
 Зацветают весной голубые цветы...
 Не бросайте на них упоенного взгляда!
 Не любите их нежной, больной красоты!
 Чтоб не вспомнить потом (ах, не надо! не надо!),
 Чтоб не вспомнить потом голубые цветы
 В час, когда догорит золотая лампада
 Неизжитой, разбитой, забытой мечты!

Проклятый год

Начавшаяся в тысяча девятьсот четвертом году русско-японская война казалась ей подобно большинству соотечественников небольшой армейской прогулкой к тихоокеанским берегам. Утихомирят япошек и вернутся домой — кишка тонка у косоглазых с Россией тягаться. Сам ведь государь, совершивший в молодые годы путешествие в Страну восходящего солнца, сказал, что безнадежно отставшая от мирового прогресса Япония с ее рикшами, гейшами и бумажными фонариками падет в считанные недели. «Все-таки это не настоящее войско, — высказался накануне войны о противнике, — и если бы нам пришлось иметь с ним дело, то от них лишь мокро останется».

От настроений шапкозакидательства вскоре не осталось и следа. После полугодовой осады пал Порт-Артур, потерпела поражение в морском бою у острова Цусима эскадра контр-адмирала Рожественского. Неудача за неудачей на театре военных действий в Маньчжурии, немислимые потери. Вернувшийся по ранению брат Коленка, которого она навестила в госпитале, с горечью говорил о бездарности руководства, воровстве в интендантском ведомстве, подавленности среди лишенного инициативы офицерства.

Муторно на душе. Угасает день ото дня Маша. Летом уехала с детьми на дачу в Финляндию, почувствовала себя вроде бы лучше. Вернулась через две недели в клинику: возобновились сердечные боли, держится на морфии.

Новый год и Рождество она провела в одиночестве: мать уехала на воды в Баденвейлер, Лена мучилась с зубами. Минский забежал на минуту, румяный с мороза, затащил с дворником елку, вручил подарки. Ерзал в кресле, вытаскивал то и дело часы. Сказал, извинившись, что должен ехать домой, обязан встретить праздник в кругу семьи: давняя традиция, ничего не попишешь. Весело, ничего не скажешь. Выпила с горя четверть бутылки шампанского, завалилась с вечера спать.

Январь выдался тревожным. Начатую рабочими Путиловского завода забастовку подхватили за малым исключением все столичные предприятия. Перестала ходить конка, не было электричества, ужинали при свечах. На улицах беспокойно, всюду военные патрули, разводят то и дело мосты. Шквальный ветер с моря, холод, слякоть, зловещая тишина за окнами

В субботу приехала из Москвы старшая сестра, осталась ночевать. Назавтра они собирались на премьеру в Театр литературно-художественного общества Суворина, поставивший первый ее драматургический опыт, одноактную пьесу «Женский вопрос». Написала сгоряча, смутно представляя себе сценичность вещи. Назвала «фантастической шуткой». Семейная история с персонажами шиворот-навыворот: мужчины рядятся в женщин, женщины в мужчин. «Господи, освистают, деньги назад потребуют за билеты...»

Режиссер Евтихий Карпов, человек старого закала, настойчиво советовал придумать псевдоним.

— Для афиши, чтобы бросалось в глаза. «Надежда Бучинская» обыденно, скучно.

«Стоит ли? — думала. — А в общем, отчего не попробовать. Псевдонимы у литераторов вещь обычная».

Прятаться за мужское имя не хотелось: малодушно и трусливо. Выбрать что-нибудь звучное, на иностранный манер? Вспомнила лакея в доме, Степана, редкостного дурака, домашние звали его за глаза «Стеффи». Дураки, как известно, приносят счастье. Отбросить для благозвучия первую букву, получится «Тэффи». Звучит выразительно, даже загадочно. У Киплинга, вспомнила, в каком-то рассказе читала о маленькой девочке Таффимай Металлумай, или, сокращенно, Таффу по-английски. Отлично!..

Вечером вымыла по совету Вари пышные свои волосы настойкой из ромашки и розмарина.

— Головка у тебя загляденье, — накручивала кончики ее прядей на папильотки сестра. — Глянь на мои патлы. Как у цыганки. Вечно сальные, перхоть сыплется. И отваром из дуба мою, и календулой, и подсолнечником — как мертвому припарки.

В воскресенье они припозднились, позавтракали к одиннадцати. В театре она обещала быть к полудню, из дому вышли, имея в запасе час, поймали санного извозчика.

— К Фонтанке нынче непросто подъехать, барышни, — сообщил озабоченно извозчик. — Непокойно, войска кругом, полиция вертает назад от центра. Народ валит со всех сторон. Челобитную вроде вручить хотят царскому величеству. Ко дворцу прорываются.

— Постарайся, голубчик, — протянула она бородатому вознице трешку, — нам в театр нужно позарез.

— Актерки?

— Актерки, актерки. Давай трогай!

— Эх! — надвинул поглубже шапку возница. — Где наша не пропадала!

Было не холодно, умеренный ветерок с залива, редкие снежинки в воздухе. День для прогулок, на улицах много гуляющих.

На Невском попали в затор: тротуары заполнены толпой, по проезжей части двигались рабочие колонны с плакатами, хоругвями, царскими портретами. Молча, сосредоточенно, с угрюмыми лицами.

— Попали, — бурчал жавшийся к обочине извозчик, — таперь не развернешься.

У набережной Мойки путь колоннам преградили кавалерийские отряды. Из конного строя навстречу демонстрантам вылетел офицер с нагайкой.

— Назад! Не велено далее!

— Нам велено! — чей-то звонкий голос в ответ. — Мы к государю, с петицией.

— Назад, сказано! — кружил, осаживая лошадь, офицер.

От Дворцовой площади бежали с винтовками наперевес солдаты, прозвучали первые выстрелы.

— Слезайте, барышни, — отвернул меховую полость возница. — Как бы шальную пулю не схлопотать...

Со стороны Александровского сада гремели залпы, в конных полицейских летели камни и палки, слышались крики: «Палачи! Убийцы! Долой самодержавие!»

Они пробирались задними дворами к театру, натыкались на патрули, умоляли пропустить:

— Вон же наш дом, за углом! Дети одни остались! Пожалуйста, господин офицер!

— Нашли время для прогулок! Не видите, что творится?

— Умоляем, господин офицер!

— Давайте, мигом!

Театр на удивление был заполнен, пьеса прошла на ура, публика смеялась. Ужас первых минут прошел, хохотала вместе с залом, когда изображавшая женщину-генерала комическая старуха Яблочкина маршировала по сцене в мундире и играла на губах военные сигналы.

Подняли занавес, актеры кланялись.

— Автора! — слышалось. — Автора!

— Надюшь, тебя... — подтолкнула ее сестра.

Она побежала к кулисам, занавес в это время опустили, она пошла назад. Аплодисменты не смолкали, актеры вновь вышли на поклон.

«Где же автор?» — слышалось за спиной.

Кинулась вновь к кулисам, занавес перед ее носом опустился.

— Да вот же она, черт возьми! — схватил за плечи режиссер. — Занавес давайте! — заорал.

Когда они с Евтихием Карповым вышли на просцениум, увидели только спины последних покидавших зал зрителей. Бывший на премьере автор знаменитой «Татьяны Репиной» Алексей Сергеевич Суворин поцеловал ей руку:

— Успех, госпожа Тэффи! С первого раза это мало кому дается... Банкет, к сожалению, отменяется, — повернулся к окружившим их исполнителям. — День безрадостный, господа.

Расстрел мирной демонстрации в столице всколыхнул страну, вызвал небывалую протестную волну. Всероссийская забастовка, паралич хозяйственного механизма. Не выходят газеты, остановились поезда, министр путей сообщения князь Хилков сидит на чемоданах, не может выехать в Москву. Волнения в воинских гарнизонах, восстал Черноморский флот, в Одессе, Севастополе, Ростове-на-Дону уличные бои, у стен Кремля погиб от бомбы террориста великий князь Сергей Александрович.

Правительство, опомнившись от потрясения, закручивало гайки. Облавы, аресты, переполнена бунтовщиками печально знаменитая Бутырка, вереницы арестантских эшелонов по дороге в Сибирь и на Колыму, на улицах Петербурга расклеен приказ

войскам городского генерал-губернатора Трепова: «Холостных залпов не давать и патронов не жалеть».

Подняли, как водится в смутные времена, головы махровые защитники престола, черносотенцы, люмпены, голытьба, нашли козлов отпущения — евреев. «Бей жидов, спасай Россию!» Черeda еврейских погромов в Мелитополе, Житомире, Екатеринославе, Симферополе, Киеве. Шайки громил врываются в принадлежащие евреям лавки, магазины, частные дома, тащат все подряд, жгут мебель, выбрасывают на улицу вещи. Сотни убитых, тысячи покалеченных. Власти смотрят на бесчинства толпы сквозь пальцы, полиция сплошь и рядом потворствует погромщикам.

«Революция, — шепчутся в гостиных, — чем все это закончится, господа?»

Время тревог, время потерь. Осенью в частной клинике в Териоках умирала Маша. Они дежурили по очереди в ее палате с видом на залив. Последние дни ее были ужасны: адские боли в области сердца, одышка. Металась на постели, звала детей. В кабинете заведующего созвали консилиум, приехал светило нейрохирургии профессор Бехтерев, за закрытыми дверями долго совещались.

— Есть, скажите, надежда? — подошла она к одевавшемуся в гардеробе профессору.

— Нет, к сожалению. Простите.

Обошел боком, зашепшил к выходу.

Вечером девятого сентября они сидели втроем у нее в изголовье — она, убитый горем муж, приехавший из части брат. Удостоенный боевой награды подполковник плакал, как мальчишка, глядя на бескровное, со спутанными на подушке волосами лицо сестры. Она была без сознания, часто, со всхлипами дышала.

Вошел лечащий врач. Подержал невесомую, в голубых прожилках руку Маши, осторожно опустил.

— Кончается, — произнес.

Она бросилась к постели, обхватила голову сестры.

— Не надо, не надо! — закричала.

Отпевали Машу в Духовской церкви Александро-Невской лавры, здесь же, на Никольском кладбище, обрела она вечный покой. Месяц спустя вышел посмертный, пятый по счету, сборник ее стихов «Перед закатом» удостоенный Пушкинской премии, вторично в ее литературной карьере.

Книгу она купила в типографской лавке, в день выхода. Пухлый том с портретом, стихотворения, баллады, фантазии. Стала читать драму «Бессмертная любовь». Средневековый сюжет с оккультным подтекстом в стиле английских баллад. С трубадурами, ведьмами, призраками. Замужняя графиня влюблена в романтического Эдгара, готова бежать с ним из замка от сурового, деспотичного мужа. Уличенная в измене, скорее платонической, нежели земной (женщиной в полной мере чувствует она себя в объятиях brutального супруга, графа Роберта де Лавалья), умирает мученической смертью под пытками палача.

Полусказочная история явно перекликалась с личной жизнью Маши. Запутанными отношениями с чуждым по духу красавцем мужем, «поэтическим романом» (поэтическим ли?) с Константином Бальмонтом, о котором не переставали сплетничать в гостиных.

Она перечитала еще раз заключительный эпизод.

Снова доносятся нежные звуки арфы. Агнесса приподнимается на ложе и говорит медленно и торжественно, с вдохновенным лицом.

А г н е с с а : Предсмертному я внемлю откровенью:

Пройдут века — мы возродимся вновь.

Пределы есть и скорби, и забвенью,

А беспредельна лишь — любовь!
 Что значит грех: Что значит преступленье?
 Над нами гнет невидимой судьбы.
 Слоним ли мы предвечные веленья,
 Безвольные и жалкие рабы?
 Но эту жизнь, затаптанную кровью
 Придет сменить иной бытие.
 Тебя люблю я вечною любовью
 И в ней — бессмертие мое.
 Я умираю... Друг мой, до свиданья,
 Мы встретимся... И там ты все поймешь:
 Меня, мою любовь, мои страданья,
 Всей нашей жизни мертвенную ложь.
 Прощай, Роберт! Я гасну... Умираю...
 Но ты со мной, и взгляд я твой ловлю.
 Твой скорбный взгляд... Ты любишь?!
 Знаю, знаю, и я тебя прощаю и... люблю!
(откидывается на изголовье и остается неподвижной)

Р о б е р т : Открой глаза! Открой! Не притворяйся!
(обращается к доктору):

Скорее, врач! Послушай сердце ей!

Д о к т о р : *(выслушав сердце Агнессы):* Она мертва.

Р о б е р т : Не верь. Она нарочно дыханье затаила и молчит,

Чтоб посмотреть не буду ль я терзаться и звать ее. Я знаю эту тварь.

Она живой в могилу лечь готова, чтоб сердце мне на части разорвать...

Д о к т о р : Она мертва. Не дышит. Нет сомненья.

Р о б е р т : А! *(после некоторой паузы говорит спокойно):* Хорошо. Тогда ступай-те все. Вы не нужны мне более...

(Доктор, палачи и слуги уходят, оставив один факел, слабо озаряющий подземелье. Роберт молча смотрит несколько минут на умершую и падает ей на грудь с отчаянным воплем...)

«Удивительно, — думала она, — какой точный слепок с ее жизни! Нелюбимый муж был с ней до последней минуты. Мучился, страдал. А этот поэтический возлюбленный, или как там его? Завуалированный Эдгар? Написавший в ответ на ее „Вакхическую песню“:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
 Из сочных гроздьев венки свивать,
 Хочу упиться роскошным телом,
 Хочу одежды с тебя сорвать.

Не пришел проститься! Цветочка не положил на могильный холмик! Неискренний, эгоистичный, самовлюбленный!»

Господа-товарищи

Открыто называвший себя социал-демократом Минский познакомил ее с приятелем, Константином Прокофьевым. Странная личность. Из богатой семьи, сын сенатора, театрал и эстет, раздирался между стихами Бальмонта и идеями большевистского лидера Ленина.

— Вы должны непременно поехать в Женеву к Ленину, — обмолвился при разговоре.

— К Ленину? Это еще зачем?

Она смотрела на него с недоумением.

— Приобщитесь к идее социализма, поймете, почему нельзя больше жить так, как мы с вами живем. Вернетесь другим человеком.

— Простите, Костя, — пожала она плечами. — Мне нравится жить так, как я живу. И я не хочу быть другим человеком.

Она к тому времени стала регулярно печататься. Опубликовала в бичевавших отцов города «Биржевых ведомостях» басню «Леянов и канал». О городском голове Леянове, вознамерившемся засыпать Екатерининский канал.

Свой утренний променад однажды совершая,
Леянов как-то увидал
Екатерининский канал
И говорит: «Какая вещь пустая!
Ни плыть, ни мыть, ни воду пить.
Каналья ты, а не канал,
Засыпать бы тебя, вот я б чего желал...»

Длинная, больше ста строк, басня «под Крылова» понравилась государю, который был против леяновского проекта. Пожалованный высочайшей улыбкой издатель Проппер прибавил ей две копейки за строчку, просил что-нибудь еще в этом роде.

— Чтоб против шерстки. Ага?

Гладить против шерстки власть имущих становилось в России модой: страна стремительно левела. В обществе шли разговоры о новых веяниях, в парикмахерской рядом с ней завивалась краснощекая бабища, содержательница извозчичьего двора, говорила парикмахеру:

— Я, мусью, теперь прямо боюсь из дому выходить.

— Чего же так?

— Да, говорят, скоро начнут антиллигенцию бить. Ужаси как боюсь!

Встретила в одном доме приехавшую из-за границы баронессу, та возмущалась, отчего в России нет до сих пор карманьолы.

— Какая же революция без карманьолы? Карманьола — веселая песенка, под которую пляшет торжествующий народ. Я напишу музыку, а кто-нибудь из ваших поэтов пусть напишет слова...

Публицисты писали бичевавшие строй статьи и сатиры, старые генералы брюзжали на скверные порядки, нелестно отзывались в частных беседах о личности царя. В Петербурге поставили запрещенную пьесу «Зеленый попугай» из времен французской революции, всенародно любимую благочестивую «Ниву» вытеснил «Пулемет» Шебуева, на одной из обложек которого красовался отпечаток окровавленной ладони, черт-те что! Встретила как-то старую приятельницу матери, вдову видного сановника, сподвижника и друга реакционера Каткова. «Хочу почитать „Пулемет“, — сообщила. — Сама купить не решаюсь, а Егора посылать неловко, он не одобряет новых веяний» (Егор был ее старый лакей).

— Надин знакома с социалистами, — подразнила как-то мать старшего брата, бывавшего в придворных кругах.

«Ну, начнется буря», — подумала она.

— Ну что ж, дружок, — лукаво улыбнулся дядюшка, — молодежь должна шагать в ногу с веком.

Так-то!

Восторженный ленинец Прокофьев всерьез, судя по всему, вознамерился приобщить ее к социалистической идее. Знакомил с друзьями. С загадочной особой Валерией Ивановной, которую на самом деле звали иначе, «Валерия Ивановна» было ее кличкой. С товарищем Каменевым, товарищем Богдановым, товарищем Фин-Енотаевским, товарищем Коллонтай. Собравшись в круг, товарищи горячо говорили о малопонятных вещах. О съездах, резолюциях, кооптациях. Повторяли часто слово «твердокаменный», ругали каких-то меньшевиков, цитировали Энгельса, утверждавшего, что на городских улицах вооруженная борьба невозможна. Привели однажды простого рабочего, товарища Ефима. В дискуссиях Ефим, как и она, не участвовал, молча слушал, покашливал в кулак, мял кепку. Потом исчез («Арестован», — мимоходом заметил Прокофьев). Через несколько месяцев появился вновь, абсолютно неузнаваемый: новенький светлый костюмчик, ярко-желтые перчатки. Сидел рядом, держа на весу руки.

— Перчатки боюсь попачкать, — объяснил. — Буржуем переодели, чтоб внимания не привлекать.

— Вы сидели в тюрьме? Тяжело было?

— Нет, не особенно.

И следом с добродушной улыбкой:

— На Рождество гуся давали.

Нравился ей заведующий редакцией товарищ Петр Петрович Румянцев. Вполне буржуазный тип, веселый, остроумный, любитель хорошо покушать и поухаживать за женщинами, часто посещавший литературный ресторан «Вена». Стоял у истоков первой большевистской газеты «Искра», успел побывать в ссылке, переводил Маркса, считался у большевиков выдающимся литератором.

Подошел как-то, присел рядом.

— Скверное настроение. У нас утонул пароход с оружием. Едемте, Надежда Александровна, в «Вену», а? Позавтракаем хорошо. Наши силы еще нужны рабочему движению.

— От сосисочек в томате не откажусь, — откликнулась она.

— Заметано!

Побывала в один из дней в гостях у товарища Коллонтай. Красивая молодая дама. Дворянка, генеральская дочь, пользовалась бешеным успехом у мужчин, была, по слухам, неразборчива в связях. Встретила их с Валерией Ивановной в роскошной гостиной. Великолепное бархатное платье, медальон-зеркальце на золотой цепочке до колен. Подали чай с печеньем, подъехали Прокофьев и Фин-Енотаевский. И снова пошла нудятина: «Энгельс сказал», «твердокаменный», «меньшевики», «кооптация». Разбирали мелкие партийные дразги, поносили на чем свет соперничавших меньшевиков, мяукавших, по их словам, во время выступлений Ленина и Луначарского, пытавшихся уворовать («Можете вообразить?») кассовую выручку, которую большевикам удалось отстоять, лишь путив в ход кулаки.

Мелко, пошло, тоскливо.

Огорошил в один из дней Фин-Енотаевский.

— Назавтра назначено массовое выступление рабочих, — сообщил с порога. — Будут, вероятно, раненые, даже убитые, организуем в помещении редакции журнала «Вопросы жизни» медицинский пункт. Наняли фельдшерицу, вы будете ей помогать. Вот держите... — порылся в бумажнике, протянул червонец. — Это на перевязочные средства и йод. Пойдите на Литейную, в дом номер пять, передайте доктору Прункину, чтобы был в редакции на Саперной ровно в три. Запомнили адрес? Литейная, десять... то есть пять, улица Прункина. О, господи, — схватился за голову, — что я такое несу! В пять, в пять, ровно в пять! — побежал к двери. — Доктор Литейный...

Сумасшедший дом, не иначе! И все же... На совести партийное поручение, в кошельке партийная десятка, действовать, действовать! Место, где располагалась редакция

«Вопросов жизни», было ей хорошо знакомо, писала кое-что в сатирическую колонку журнала, редактор Бердяев предостерег ее однажды, узнав, что она водится с большевиками: «Советую вам держаться от них подальше. Я всю эту компанию хорошо знаю, был вместе в ссылке. Никаких дел с ними иметь нельзя».

Нельзя? А как же партийное поручение?

Помчалась прежде всего на Литейную. Ни в доме номер пять, ни в доме номер десять о докторе Прункине не имели представления. Ночью не могла уснуть, прислушивалась: не стреляют ли? С тяжелой головой притащилась к назначенному часу в редакцию, столкнулась в дверях с Константином.

— Ну как?

Тот пожал плечами:

— Да ровно ничего. Ложная тревога.

— У вас все ложное, Костя! — закричала. — Клички, конспирации, слова! Я сыта всем этим по горло! Во-о! — провела ладонью по горлу.

Минский ее успокоил: в любом деле возможны неувязки. Главное, ветер дует в наши паруса. Ворвался в заснеженной шубе, энергичный, возбужденный. Грел руки у печки, ходил, глотая кофе, по комнате, сыпал словами. Возглавил два дня назад легальную большевистскую газету «Новая жизнь». Тираж восемьдесят тысяч экземпляров, издательница — новая пассия Горького, актриса Мария Андреева, в редколлегии сам Максим Горький, Луначарский, много видных социал-демократов.

— Ленин, представляешь! Прислал телеграмму, приезжает днями из-за границы, чтобы включиться в работу. Дали согласие на сотрудничество Леонид Андреев, Бунин, Бальмонт, Вересаев, Серафимович. В следующем номере идет мой «Гимн рабочим», перевел на русский «Интернационал». Ждем твоего участия, Надюша. Платим прилично, не хуже других. Эх, запалим огонек, дорогая, — закружил по комнате. — Мы наш, мы новый мир построим, — затянул фальцетом, — кто был ничем, тот станет всем!..

В постели быстро выдохся, лежал, откинувшись на подушке, дымил папиросой.

— У тебя на памяти живое свидетельство о бойне девятого января, — загасил папиросу. — Тема, сама понимаешь. Напиши что-нибудь. Как ты умеешь.

— Подумаю... — она гладила влажные волосы у него на груди, повела пальчиком вниз.

— Прости, сегодня я, кажется, не в форме...

Свесил ноги, нащупал тапочки.

— Надо заехать еще в типографию, — стал натягивать кальсоны, — посмотреть сигнальный экземпляр.

Два дня спустя она стала штатным сотрудником литературного отдела легального печатного органа большевиков вместе с Горьким и Зинаидой Гиппиус. В седьмом, октябрьском, номере газеты вышло ее стихотворение «Патроны и патрон». Вспомнила афишку на улицах за подписью столичного генерал-губернатора Трепова со словами «холостых залпов не давать и патронов не жалеть», сочинила за пару часов стихотворный фельетон на смещенного с поста, отправленного на должность дворцового коменданта генерала-расстрельщика:

Спрятав лик в пальто бобровое
От крамольников-врагов,
Получивши место новое,
Едет Трепов в Петергоф.
Покидая пост диктатора,
Льет он слезы в три реки.

Два шпиона-provokatora
 Сушат мокрые платки.
 Ах! подобного нелепого
 Я не ждал себе конца:
 Генерал-майора Трепова,
 Благодетеля-отца.
 Кто порядки образцовые
 Ввел словами: «Целься! Пли!» —
 В коменданты во дворцовые
 Не спросился упекли!
 Ведь для них я был мессиею,
 Охранял и строй, и трон,
 Был один над всей Россиею
 Покровитель и патрон!
 Трепов, не по доброй воле ли
 С места вам пришлось слететь?
 Сами вы учить изволили,
 Чтoб патронов не жалеть.

Ключую ее сатиру читал на другой день весь Петербург, «патрон с патронами» стал ходячей поговоркой. Сыпались со всех сторон заказы: журналы «Красный смех», «Зарницы», «Серый волк», «Сигнал», солидные «Биржевые ведомости», «Новое время». Никому не отказывала. Взяла на почасовую работу пишбарышню и мальчишку-рассылного, трудилась день и ночь. Темы витали в воздухе: загляни в утреннюю хронику и за стол. Перелицевала на злобу дня пушкинский перевод из «Воеводы» Мицкевича:

Снарядившись для похода,
 Писаревский воевода
 Говорит команде речь:
 «Враг пред вами. Цель в прохвоста!
 Меть верней! Бери в полроста.
 Разом пули и картечь!
 Бить меррзавца — честь солдата,
 Раз, два, три! Пали, ребята!
 Пусть издохнет скверный гад!» —
 «Рад стараться!» — взвыли взводы,
 Дружно в спину воеводы
 Выпуская весь заряд.

Прокофьев не давал покоя: написать непременно для выходящей в Женеве под руководством Ленина газеты «Вперед».

— Что-нибудь воодушевляющее, звучащее как набат!

Написала за вечер стихотворение «Пчелки». Все, что полагается: свержение царизма, красное знамя свободы, «мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога» (точно по Прокофьеву), и прочие молнии революционной грозы.

Стишок в Женеве напечатали, Константин потащил ее в какой-то замаскированный под кухмистерскую революционный клуб, она читала не входивших в официально утвержденную программу «Пчелок» с эстрадки, студенты-распорядители перед этим увели присутствовавшего для порядка полицейского в буфет. Пропустивший рюмочку пристав удивлялся царившей возбужденности аудитории, спрашивал:

— Что она там такое читала?

— То, что в программке, смотрите, — показывали студенты. — «Моя любовь, как странный сон».

— Чего ж энти чудачки волнуются? — удивлялся пристав. — Ведь ейная же любовь, не ихняя.

Явился неожиданно Ленин, как черт из табакерки! Некрасивый, толстенький, с широкой нижней челюстью, выпуклым плешивым лбом, узкими хитрыми глазками. Подвижный, стремительный. Прошелся, сопровождаемый Румянцевым, по комнатам.

— Помещение отличное, — заметил. — Но не для нашей редакции. Как это вам могло прийти в голову, товарищ Румянцев, что большевистскую газету можно выпускать на Невском? И какого роскошного швейцара посадили! Да ни один рабочий не решится пройти мимо такой персоны. А ваши хроникеры? Куда они годятся! Хронику должны давать сами рабочие.

— Уж не знаю, что они там напишут, — ворчал Румянцев.

— Неважно, неважно! Конечно, все это будет и безграмотно, и бестолково, это не имеет значения, мы такую статейку с вами как следует выправим и напечатаем. Таким образом рабочие будут знать, что это их газета.

— А литературную критику, отчеты о театрах и опере тоже будут писать рабочие? — не выдержала она.

— Госпожа Бучинская?

Острый прищур исподлобья: «Оппортунистка? Соглашательница? Кем кооптирована?»

— Читал и вашу «Пчелку», и другие филиппики. По-боевому, архиактуально. Касаемо вашего вопроса скажу так: нам сейчас театры не нужны. И никакая музыка не нужна. Статей и отзывов ни о каком искусстве в нашей газете быть не должно. Только рабочие хроникеры могут связать нас с массами.

Не понравился с первого взгляда. Читал корректуру, носился по кабинетам. Деятельный сверх меры, шумливый, затевал по любому случаю спор, выслушивал скептически оппонента, хватал за лацкан пиджака:

— Хотите контраргумент? Извольте!

Торжествующий хохот.

Исчез точно так же, как появился: раз, и нету! Опять в Женеве. Навострил архивовремя лыжи: в приемной несколько дней спустя возникла знакомая фигура цензорского чиновника в сопровождении наряда полиции. Сотрудникам было зачитано правительственное постановление: газета закрывается, на этот раз окончательно. Минского увели, на другой день незнакомый мальчишка принес записку от ушедшей в подполье Валерии Ивановны: «Николай Максимович под следствием, будем добиваться освобождения под залог», следом записка от самого Николая: «Уезжаю с семьей в Париж. Помню, люблю, надеюсь на встречу».

И весь роман. Хоть смейся, хоть плачь.

Смеемся, господа, смеемся!

Забвение в работе. Что ни день, предложение из редакций: ждем фельетон, бытовую зарисовку, юмористический стишок. Вошла во вкус: только еще идешь к столу, а сюжет уже готов, вещь в голове, садись и переноси на бумагу. Самое, кстати, нудное занятие: лень одолевает, почерк отвратительный, рассеянность. Пропускаешь буквы, слова, знаки препинания, дурацкие физиономии рисуешь на полях. Станешь перечитывать: господа, о чем это я? по какому поводу? Редактировать не хочется, да и времени нет: в каж-

дый воскресный номер «Биржевых вестей» предоставь веселый рассказ, каждую неделю мелочовку в «Зритель», «Красный смех», «Весну». Торопят, звонят, присылают курьеров.

Время для сатиры не самое лучшее. Саша Черный, с которым сталкивалась по работе, написал у себя в колонке: «Погиб свободный смех, а мы живем, тоска в глазах у всех — что мы поем?»

«Столыпинский галстук» на горле, обещания Октябрьского манифеста остались на бумаге, шаг за шагом отбираются завоеванные ценой крови свободы. Свиристует цензура, полиция закрывает один за другим сатирические издания, их место занимают черносотенные журнальчики: «Жгут», «Кнут», «Жало», «Вече» и им подобные. Масскируются под защитников народа, шельмуют рабочих за то, что те верят социалистам, называют их дураками.

Купила как-то «Кнут», полистала. Страх божий! Убогие вирши, безграмотность, разнужданный шовинизм. «Сраму на свою голову не положим, охулки на руку тоже класть не будем, будем лупить на славу, с гиком, со свистом, по-старинному, по русскому. Берегись, нечисть!» Следом стишок: «Если ты профессор красный, то, наверное, ты плут, и при этом плут опасный, по тебе рыдает Кнут».

Печатные погромщики!

В клетке не распоешься, совать голову в петлю она не собирается — наивно, бессмысленно. Настраивает, как многие коллеги по сатирическому цеху, литературный свой рояль на новое звучание. Ювеналов бич в дальний ящик комода, на рабочем столе веселая лира. Простодушная, чуточку колючая, малость ядовитая: смейтесь, господа, легче будет дышать! Царское Село и губернаторов не трогаем, о тюрьмах и цензурной удавке помолчим. О городских хотите? Извольте. «Городовой, как таковой, бывает двоякий. 1) Двухногий. 2) Четырехкопытный. Четырехкопытный городской фыркает, машет хвостом, насадет и въезжает в толпу. Двухногий свистит, ругается, но въезжает только в ухо, в рыло и прочие места, не столь отдаленные, куда хватает небольшая амплитуда его кулаков».

Смешно, не правда ли? Или вот это:

«Знаете, банкирша Карфункель в оперу с собой телячью ногу берет. — Что? — Телячью ногу. Теперь телятины ни за какие деньги не достать, ну, а она где-то раздобыла. И, знаете, даже красиво. Прямо на барьер ложи так небрежно бросает, как будто случайно прихватила вместе с биноклем».

Глуловато? Пожалуй. Зато смешно. И никакой цензор не придерется...

Начало девятого утра, в окна стучит дождь, она за рабочим столом Продолжительный звонок в передней.

«Кого там нелегкая?»

— Барин какой-то, назвался Стрекоза, — докладывает горничная.

Она потягивается в кресле.

— Стрекоза?

— Ага.

— Зови.

Высокий блондин в новеньком сюртуке и узких брюках со штрипками. Круглолицый, дородный.

— Я по брачному объявлению.

Потянул с носа пенсне, заулыбался.

— Аркадий Аверченко. Вряд ли слышали.

Вспомнила: в выходившей по понедельникам литературной газете «Свободные мысли», где она печаталась, появилось несколько остроумных фельетонов, подписанных

«Аверченко». Спросила у редактора, что за автор. «Один из остряков из провинции, — ответил тот, — собирается устроиться в Петербурге».

— Проходите, — пригласила.

Гость присел на диванчик, огляделся.

— Деловое предложение, Надежда Александровна. Со вчерашнего дня я ответственный секретарь журнала «Стрекоза». Формируем новую редакцию, ищем интересных авторов. Хочу пригласить вас к сотрудничеству.

«Надо было подержать его в прихожей, — пронеслось в голове, — привести себя в порядок».

— Я, знаете, к изданиям такого рода как-то не очень, — она разглядывает кончики пальцев в чернилах. — Да к тому же со свободной сатирой у нас вроде бы покончено. А мелко шутить мне, признаться, начинает надоедать.

— Понимаю как никто, Надежда Александровна! — он смотрит на нее с подкупающим дружелюбием. — Давайте оставим отчества, а? Аркадий и Надежда.

— Лучше Надюша.

— Договорились, Наденька. Пир свободной сатиры в самом деле позади, вы правы. Ни «Пулемета» нет, ни «Зрителя», ни «Молота», ни «Сигнала», ни «Стрелы», ни «Жупела». Сатирическая литература задушена, на месте цветущей нивы выжженное поле. Не тронули старичков: «Будильник», «Шут», «Осколки», еще «Биржевые ведомости», «Слово». Понятно, по какой причине. Беззубые, шамкают по-старчески, власть не задевают. Осмеивают подвыпившего на маскараде купца, угнетенного дачей дачника, тещу, других персонажей юмористических листков, питавшихся десятки лет этой полусгнившей дрянью.

— А ваша «Стрекоза», Аркадий? Лучше?

— Отнюдь. Шутим по-мелкому, с оглядкой. Поэтому и не закрыли.

— И мне предлагается в этом участвовать? Что-то не вижу логики.

— Логика простая. Журнал мы намерены реформировать, превратить из юмористического в сатирический. Без ложного фрондерства, отдавая отчет в возможностях, которые допустимы сегодня в условиях цензуры. Цель — моральное исправление общества путем сатиры на нравы...

Поднял крышку чернильного прибора, повертел в руках, глянул с подкупающей лукавинкой.

— Учтите, я без вашего согласия не уйду. Поселюсь навечно.

— Я подумаю, Аркадий, — она улыбалась. — Чаю хотите?

— Как бедуин в пустыне!

— А я, признаться, решила, — говорила она за десертным столиком, — что подвалило женское счастье, человек действительно пришел просить руку и сердце.

— Да боже мой! — стал отодвигать он кресло. — Робел, чепуху молот! Готов хоть сию минуту! Осчастливьте, Надя!

— Будет, будет, чай не пролейте, — она смотрела на него с симпатией. — Когда прикажете явиться?

— Завтра, к шести, — хрумкал он аппетитно сушкой. — Будет организационное совещание. С коллегами познакомитесь. Принесите, кстати, что-нибудь свеженькое в очередной номер.

Пошла главным образом из-за него: симпатичный необычайно. Нашла по оставленной записке («Невский, 7/9, неподалеку от Дворцовой площади») адрес, толкнула дверь парадного подъезда, шагнула за порог: что за ерунда? Небольшой ресторанчик под стеклянной крышей с летним двориком, за столиком одинокий посетитель за стаканом вина.

— Простите, — обратилась она к нему, — я, видимо, ошиблась. Здесь где-то должна быть редакция журнала «Стрекоза».

Субъект отхлебнул из стакана, показал куда-то в глубину помещения дымящейся папиросой. Она пошла, лавируя между столиками в указанном направлении, толкнула скрипучую дверь.

— Надюша, мы вас ждем! — окликнул свесившийся с перил вчерашний гость. — Поднимайтесь по лестнице, только осторожно, здесь не очень светло.

Поцеловал руку.

— Идемте, я вас издателю представлю.

День неожиданных знакомств. Слышала много раз фамилию издателя «Стрекозы» — Корнфельд. Имела собственное мнение об этой публике: дельцы, глядящие на пишущий народец как на перекладных лошадей. А тут очаровательно грассирующий юноша, застенчивый, утонченный. Недавно унаследовал от умершего отца известный журнал, удержал старых авторов, привлек новых.

— Знаком с вашим творчеством, Надежда Александровна, — смотрел дружелюбно из-под девичьих ресниц. — Вы интересный беллетрист, перо ваше созвучно направлению, которому мы собираемся отныне следовать.

Заулыбался:

— Повлияете благотворно на наше грубое мужское сообщество.

В кабинет без стука входили люди, с любопытством оглядывали. Появился сидевший в ресторанчике субъект, показавший ей путь в редакцию. Грузный, с вьющейся шевелюрой и пышными «пушкинскими» бачками.

— Алексей Радаков, — пожал руку.

— Новый наш художник, недавно вернулся из Парижа, — пояснил Корнфельд.

— Привез роскошную шляпу и жену-француженку, — добавил Аверченко.

— Ремизов-Васильев, — поклонился аккуратно одетый юноша с подпиравшим щеки белоснежным воротничком.

— Бухов.

— Потемкин.

— Надя, милая, здравствуйте!

Сашенька Черный. Сел рядом на диван, чмокнул в щеку:

— Умница, что пришли, не пожалеете.

— Ну что ж, начнем, господа, — обвел взглядом собравшихся Корнфельд. — Повестка дня всем известна. Как жить дальше...

Обсуждение выдалось бурным. Говорили горячо, спорили.

— Послушайте, пожалуйста, для удобства я изложил это тезисно!

— В корне не согласен!

— Разумно!

— Давайте оставим детали, возьмем быка за рога.

— Оставьте, ради бога, быка в покое!

Итог дискуссии подвел Корнфельд. Говорил как о решенном: со вчерашней «Стрекозой» покончено, производим полную безболезненную метаморфозу журнала. Смысл и содержание обновленного издания — посмотреть на пошлую и жуткую действительность сегодняшней России глазами спокойного, ироничного наблюдателя. Не чуждого юмора, подчас ядовитой иронии, но без скорби и гнева, социального надрыва.

— В политике будем вне партий, в литературе вне кружков, в искусстве вне направлений.

Придумали обращение к читателям: «Мы будем хлестко и безжалостно бичевать все беззакония, ложь и пошлость, которые царят в нашей политической и обществен-

ной жизни. Смех, ужасный ядовитый смех, подобный жалам скорпионов, будет нашим оружием». Обсудили и дали название новым рубрикам. «Перья из хвоста» (короткие цитаты из газет и журналов с остроумными замечаниями и вылавливанием языковых ляпов), «Волчи ягоды» (сатирико-юмористические отзывы на общественные события), «Почтовый ящик» (ответы редактора на присылаемые рукописи).

Шел десятый час вечера, сидевший рядом Саша зевал в кулак, вытаскивал из кармана часы, щелкал крышкой.

— Заболтались, — ворчал, — жрать дико хочется.

— Кажется, все, господа, — объявил Корнфельд.

— Минуту, Михаил Германович, — раздался голос.

Аверченко. Встал из-за стола.

— Я не совсем понял, прежнее название остается?

— Вроде бы, — непонимающе Корнфельд.

— В таком случае все наши начинания — пустой звук! — Аверченко сверкал очками. — Сами подумайте. Чего бы мы с вами гениального ни насочиняли, культурный читатель, привыкший к тому, что «Стрекоза» — издание для половых и извозчиков, пройдет мимо прилавка со свежим номером журнала. Не поверит, что под обложкой новое содержание. Все наши усилия пойдут коту под хвост.

— Что, и название менять? — Ремизов-Васильев.

— Непременно, Коля!

— Присели, господа, — голос Корнфельда.

Просидели до половины одиннадцатого, точка зрения Аверченко в результате возоблада. Стали искать название, сыпались один за другим предложения, все не то. И неожиданно Радаков, иерихонской трубой:

— «Сатирикон!»

— А? Что? — послышались голоса.

— Грамотные, нет? Роман римского писателя Гая Петрония читали? О нравах ихних? Самое что ни на есть подходящее слово для нашего чудного времени. И сатир с рожками, и сатира угадываются. Звучит.

— Лешка, гений, — мял его в объятиях Аверченко, — лучше не придумаешь! Как вам, Михаил Германович?

— Мне по душе, — откликнулся Корнфельд. — Знаете что, — глянул на часы. — По-едем-ка сейчас в «Вену», а? Поужинаем, обложку новую обмоем?

— Дело! — слетел со стула Саша Черный.

— Ур-ра! — Аверченко.

С шумом и гамом устремились к дверям.

— Какое количество любовников устроило бы даму ваших лет, Надя?

Аверченко подливает шампанское в ее бокал.

— Думаю, двоих на какое-то время было бы достаточно.

— Ага, есть, насколько я понял, надежда попасть в число соискателей?

— Надежда перед вами. Волшебная и неповторимая.

— И все же?

— Успокойтесь, вы вне конкуренции.

— Рад слышать. Жду приглашения на чай.

Оба смеются, довольные.

За шторкой кабинета шумит ночной ресторан. Звон посуды, голоса, взрывы смеха. Рядом, за перегородкой, кто-то читает стихи: аплодисменты, выкрики «браво!», «гениально!».

Заглянула голова — Куприн. Сильно под градусом, пошатывается.

— Надежду Александровну беречь пуще глаза, — покрутил увесистым кулаком. — Обидите, будете иметь дело со мной.

Мужчины острят, рассказывают анекдоты, сыплют каламбуры, норовят привлечь внимание. Кто-то уронил часы под стол, поднял, стал рассматривать, поэт Красный тут же:

Теперь излишни «ох» и «ах»,
Но и дурак ведь каждый ведаёт:
Стоять возможно на часах,
Но наступать на них не следует.

Аркадий не спускает глаз. Ей безмятежно, весело.

Корнфельд, цепляя вилкой солёный огурец:

— Вы, кажется, что-то приготовили для нас. Надежда Александровна?

— Да, фельетон. Завтра пришло.

— Замечательно.

Сочинила накануне «Модного адвоката». Вспомнила рассказанную когда-то отцом историю, когда упоенный собственным красноречием адвокат усугубил идиотской речью судьбу подзащитного. Сюжет был в голове, ясен характер: судейский болтун, которому плевать на судьбу клиента, лишь бы блеснуть с трибуны словцом, сорвать аплодисменты. Видела отчетливо главного героя. В зал входит плотный господин во фраке и, кивнув надменно обвиняемому, усаживается за пюпитр. Профессиональное словоблудие, интервью репортерам во время перерыва: «Мы за такие дела из принципа беремся, гонорар нас только оскорбляет». История требовала гротесковой развязки, такой, чтобы читатель ахнул: господи, защитничка нашёл, себе на погибель! Сама смеялась, сочиняя фантазмагорический финал: героизируя согласно выбранной линии защиты личность клиента, скромного журналиста Семена Рубашкина, обвинявшегося всего-навсего за распространение волнующих слухов о роспуске первой Думы в газетной статье, грозившей ему в худшем случае штрафом, адвокат рисует его в своих речах чуть ли не Робеспьером, вождем революционного движения, который даже под угрозой смерти не откажется от своей миссии. Повлиял в результате на решение суда: бедного Рубашкина приговаривают к смертной казни через повешение. На вопрос ошеломленных исходом дела родственников адвокат разводит руками: «Что поделаешь! Кошмар русской действительности...»

— Коньячку, Надежда Александровна? — тянется с бутылкой Радаков.

— Нет, нет, пожалуйста, мне хватит.

Публика все прибывает. Носятся как угорелые половые, выстрелы пробок в потолок. Волшебный вечер, давно не было так хорошо. Пылает голова, мыслей никаких, хочется смеяться.

Саша читает свежий стих:

Вы сидели в манто на скале,
Обхвативши руками колена,
А я на земле,
Там, где таяла пена.
Сидел совершенно один
И чистил для вас апельсин.
Оранжевый плод!
Терпко-пахучий и плотный,

Ты наливался дремотно
Под солнцем где-то на юге
И должен сейчас отправиться в рот
К моей серьезной подруге...

— Сашка, превосходно! Твое здоровье!

В зале гасят люстры и лампы, но никто, похоже, не думает расходиться. Отдернулась занавеска: хозяин заведения Иван Сергеевич.

— Виноват, господа, четвертый час ночи, прислуга устала, барышни за буфетом валяются с ног. Уж не посетуйте...

— Может, в чайную на Фонтанке двинем? — говорит Радаков. — Варить уху с поплавкой?

— В Стрельну едемте! — кричит Аверченко. — Утро встречать!

— Мысль! Давайте, господа, на посошок...

— Прошу вас, очаровательная... — Аверченко помогает встать, ведет под руку мимо выстроившихся вдоль стен половых в передниках.

— Рады услужить, ждем с нетерпением, — кланяется хозяин.

Погрузились в нанятые таксомоторы, она с Корнфельдом и Сашей в головном, остальная компания в двух других. Четверть часа тряски на ухабах, они въезжают в парковую аллею, идут по ступеням вниз.

Пустынный пляж, легкий туман с моря, за спиной темная громада Константиновского дворца. Бредут гуськом мимо купален, дачных оград, она кутается в наброшенный Корнфельдом сюртук. Зябко, хочется спать.

— Где же ваш рассвет, Аверченко? — спрашивает капризно.

— Он грядет, королева, он грядет.

Присели на валун, Радаков протянул раскрытую коробку:

— Подымим?

Чиркает спичкой, подносит огонек.

— Вот смотрю на звездное небо, — голос Саши, — и думаю, сколько на каждой звезде дураков, и начинаю терпимей относиться к нашей маленькой земле.

Задул свежий ветерок, ночь стремительно отступает, в серой дымке все отчетливей проглядывают силуэты строений, засветился краешек неба, шире, шире, малиновый диск выкатывается сонно из-за туч.

— Смотрите, смотрите!

Аверченко в надвинутой на уши шляпе выбрасывает театрально руку навстречу утреннему восходу.

— Это солнце сатирикона! — кричит.

— Бутылка, — шарит у ног Радаков, — где она, черт возьми? Выпить необходимо...

В моторе на обратном пути на месте Корнфельда оказался рядом Аверченко. Жал руки, говорил на ухо глупости. Не чаяла добраться до постели, проспала до полудня. Едва открыла глаза, первая мысль о нем.

«Влюбилась, — подумала с ужасом, — кошмар какой-то!»

Была сама не своя, не работалось, нервы на пределе. Похолодела, услышав звонок в передней.

— Буквально на пару минут...

Он стоял на пороге, виновато улыбаясь. Перевязанная лентой коробка в одной руке, букет алых роз в другой.

— Соскучился, представляете?

— Проходите, Аркадий, — сказал кто-то за нее. — Я вас ждала.

Любовь и слава

Оба не афишировали близость, коллеги, и только. В «Сатириконе» с его атмосферой товарищества это было несложно.

Она узнавала мало-помалу о прошлой его жизни: «окрошка из моркошки», как он выражался.

Севастопольской мальчишка из небогатой семьи. Болезненный, слабый глазами. Нигде не учился, грамоту постиг с помощью старших сестер.

— На нашей Ремесленной улице, — рассказывал, — существовали два разряда мальчиков: одни меньше и слабосильнее меня, и этих бил я, другие больше и здоровее, эти отделяли мою физиономию на обе корки при каждой встрече.

Море было вторым его домом. Дружил с моряками, для которых воровал папиросы у отца. Брал из домашней библиотеки новую книжку, уходил на пустынный пляж. Закусывал прихваченными холодными котлетами, таранью и пирогом с мясом, читал, лежа у одинокой скалы. Всмотривался в горизонт, переносился мыслью то в Африку, то в Северную Америку, к бизонам, необъятным прериям, мексиканским вакеро, раскрашенным индейцам.

— Как похоже, Аркаша, — целовала она его в висок. — У меня было то же самое.

— Потому и лежим вместе.

— Прекрати, пожалуйста!

— Виноват, сорвалось...

В пятнадцать лет отец устроил его младшим писцом в транспортную контору по страхованию и перевозке кладей, год спустя он уехал к старшей сестре в Брянск, стал служить помощником счетовода на угольном руднике, перебрался в Харьков, куда перевели правление рудника. Здесь начал писать, печататься в газетах, основал с приятелями и возглавил сатирический журнал.

Мог ослепнуть. Обедал в ресторане, услышал шум за дверью, вышел в коридор узнать, в чем дело. Дрались пьяные посетители, кто-то швырнул бутылку, которая разбилась о стену, осколок попал в левый глаз. Ездил в одесскую клинику к знаменитому офтальмологу Гиршману, тот посоветовал удалить глаз, от операции он отказался, глаз с той поры перестал видеть, стал неподвижным.

В Петербург нагрянул, как бальзаковский Растиньяк — завоевывать столицу. Бродил по городу, просматривал объявления редакций: в какое из сатирических изданий податься? «Шут» и «Осколки» располагались где-то у черта на куличках, «Серый волк» и «Стрекоза» в центре города. Попробуем в «Стрекозу», решил. Через полчаса вышел из кабинета издателя в должности конторщика. Работа не пыльная: надписывать адреса на бандеролях для подписчиков. Спустя недолгое время Радаков, занимавший в то время пост редактора, поручил ему написать рецензию на пьесу, шедшую в летнем театре на Васильевском острове. Добросовестно выполнил поручение, принес остроумный отклик, за который получил два рубля сорок копеек гонорара. Остроумная рецензия была на его манер: рецензируемый спектакль, оказывается, не состоялся из-за плохой погоды.

Сам нечуждый авантюр, Радаков предложил ему место секретаря редакции, в этом качестве Аверченко отправился переманивать из смежных изданий в реформируемый журнал зарекомендовавших себя литераторов и юмористов.

— Так я, свет моей души, оказался у твоего порога. Божье провидение.

Возглавив редакцию «Сатирикона», он весь отдался работе, половину печатаемых материалов сочинял сам. Писал под кучей псевдонимов: «Фальстаф», «Медуза-Горгона», «Фома Опискин», «Ave» — фельетоны, пародии, подписи под карикатурами, репли-

ки на театральные постановки, отзывы в рубрику «почта» на присылаемые читательские рукописи. Вдвоем они придумали и сочиняли поочередно с присоединившимися к ним Осипом Дымовым и писавшим под псевдонимом О. Л. Д'Ор Иосифом Оршером пользовавшуюся бешеной популярностью «Всеобщую историю» — пародийно преподнесенную историю человечества начиная с Древнего Рима до наших дней.

Она взяла на себя «Древнюю историю», написала в предисловии: «Трудно найти на свете человека, который хотя бы раз в жизни, выражаясь языком научным, не влопался бы в какую-нибудь историю. Но как бы давно это с ним ни случилось, тем не менее происшедший казус мы не вправе назвать древней историей». Придумывала без особого труда пародийные версии каменного, бронзового, железного веков, писала об Одиссее, Пенелопе, воспитании детей в Спарте («Воспитание детей было очень суровое, чаще всего их сразу убивали, это делало их мужественными и стойкими. Образование они получали самое основательное: их учили не кричать во время порки. В двадцать лет спартиат сдавал экзамен по этому предмету на аттестат зрелости. В тридцать лет делался супругом, в шестьдесят освобождался от этой обязанности»).

Ее привыкли видеть вместе с Аверченко, поклонники спорят, кто из них талантливей, остроумней. Пересказывают случившуюся на даче приятелей, где оба гостили, пикировку остроумами. Хозяева оставили их ночевать, ей постелили на втором этаже, а Аверченко на первом, под ее комнатой.

«Что вы пожелаете мне на ночь, Аркадий Тимофеевич?» — спросила она (на людях были на «вы», обращались по имени-отчеству).

«Чтоб вы провалились», — последовал ответ.

В комнате, где ее поместили, не было занавесок, белая ночь мешала уснуть. Кровать к тому же оказалась короткой.

«Как спалось?» — осведомился за завтраком Аверченко.

«Коротко и ясно», — откликнулась она.

Видалась они урывками, оба работали у себя дома, у него была масса увлечений: конские скачки, шахматы, цирковые состязания по поднятию тяжестей, показательные полеты спортсменов-авиаторов, на которые он ходил с Александром Ивановичем Куприным, таким же, как сам, горячим любителем спорта. Стал прилично зарабатывать, от ста до двухсот рублей за фельетон, получал гонорары за театральные постановки, чтение рассказов с эстрады. Вошел во вкус, одевался у самых дорогих портных столицы, Калины и Анри, обувь покупал в магазинах Вейса. Тщательно выбрит, причесан, на мизинце левой руки перстень, трость с набалдашником в виде перевернутой дамской туфельки — не мужчина, картинка!

Иллюзий на его счет она не питала. Милый, обаятельный? Вне всяких сомнений. Тонко чувствующий, деликатный. Но ветренный, ветренный. Притвора, лгун!

Написала однажды под настроение:

Ты меня, мое солнце,
Все равно не согреешь,
Ты горишь слишком тихо —
Я хочу слишком знойно!
Ты меня, мое сердце,
Все равно не услышишь,
Ты стучишь слишком звонко,
Я зову слишком робко!
Ты меня, мое счастье,
Все равно не утетишь,

Ты солжешь слишком нежно —
 Я пойму слишком горько!
 Ты меня, мой любимый,
 Все равно не полюбишь:
 Я горю слишком ярко,
 Ты возьмешь слишком просто.

Доходили слухи о его увлечениях актрисами, кутежах на пользовавшейся дурной репутацией вилле Родэ, которую облюбовала «золотая молодежь». «Разве это любовь? — думала с горечью. — Приезжать, когда вздумается, точно в дом свиданий. Облегчил-ся, и за дверь». Отношения были на острие ножа. Попала в руки ходившая по редакции эпиграмма: «На кровати возле Кати спит Потемкин крепким сном, а Аверченко Аркадий с длинногрудой рыжей Надей что-то делает тайком. А в углу, обнявши деву, точно рыцарь королеву, спит растерзанный Куприн. Дальше — тело Котылева, без малейшего покрывала».

«Мерзость какая! — передернуло ее. — Неужели правда?»

Последовало очередное объяснение.

— Ты что, эту публику не знаешь? Надю длинногрудую приплели! У меня кухарка Надя, как и ты. Радикулит мне на ночь растирает. Я этому сочинителю голову оторву.

— Слы-шать не хо-чу! — толкала она его к двери. — Не смей больше приходить! Появишься, с лестницы спущу!

Неделю не виделись, общались через редакционных курьеров.

«„Древнюю историю“ получил, как всегда великолепно...» «У нас „белое пятно“, цензура сняла фельетон, можешь дать что-нибудь взамен?..» «Совещание переносится на следующий четверг...»

Прекрасно, мы только знакомы. Отдыхаю телом и душой.

Вечером телефонный звонок.

— Алло, квартира Тэффи? — голос телефонистки. — Минуту, соединяю...

— Надюша, родная, — знакомый баритон. — Давай помиримся, а? Хочешь, я себе ухо отрежу? Как Ван Гог. Я серьезно. Живу же без глаза, буду жить без уха. Ну, прости, пожалуйста! Ну, дурак, скотина, Миклухо-Маклай...

Она прыскает в кулак .

— Надя, я сейчас приеду, — улавливает он перемену в ее настроении.

— Черт с тобой, приезжай.

Крутит, давая отбой, ручку аппарата.

— Люда, — кричит в открытую дверь, — поменяйте постельное белье!

В 1910 году в издательстве «Шиповник» вышла первая книга ее стихотворений «Семь огней» и следом двухтомник «Юмористические рассказы». Тонкий стихотворный сборничек внимания не привлек, несколько коротких откликов в газетах. Двухтомник сделал по-настоящему знаменитой.

Вкус славы она ощутила на другой день. Сошла с трамвая на углу Невского и Морской, увидела очередь у газетного прилавка, подошла: люди отходили с ее двухтомником в руках.

Стояла неподалеку, прошел, листая на ходу страницы, гимназист, остановился в изумлении.

— Господа, — закричал, — Тэффи!

Ее окружили, протягивали томики с фотографией на титульном листе, просили написать. Не отпускали, шли рядом, спрашивали что пишет, будет ли новый скетч в ли-

тературном театре, кого из юмористов считает более талантливым: Дорошевича или Аверченко.

— Дорошевича, пожалуй.

Махнула рукой проезжавшему извозчику.

— Извините, тороплюсь. Рада была познакомиться.

Читала, лежа на диване, рецензии на двухтомник.

«Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо, но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи, не „женщину-писательницу“, а писателя большого, глубокого и своеобразного...»

«Тэффи в нашей литературе (и только ли в нашей!) — явление единственное и едва ли повторимое. Многоликая, независимая, сама по себе, ни на кого не похожая Тэффи...» «Лучшая, изящнейшая юмористка нашей современности Тэффи своим смехом продолжает традицию великого Гоголя...»

Ни одного ругательного отклика, сплошь дифирамбы.

Позвонил Бунин:

— Поздравляю. От многих вещей, думаю, Антон Павлович бы не отказался. Обо мне говорить не приходится.

Явился спустя короткое время один из директоров сытинского «Товарищества издательского и печатного дела» Руманов. Энергичный, стрижен ежиком, щеточка усов под крупным носом.

— Кроткая Тэффи, можно я буду вас так называть? Приглашаю на пару месяцев в Ессентуки. Бога ради, ничего неприличного! Создаю большую курортную газету. Будете давать в каждый номер мелочовку, главное — ваше имя. Водички попьете. А, согласны? Сколько?

И, не дождавись ответа, ловко, веером выложил несколько новеньких кредиток с портретами Екатерины Второй.

— Это аванс.

В принципе можно было не церемониться: предложение заманчивое, живые денюжки к тому же. Но как-то сразу: «Спасибо, я согласна?» Вульгарно, по-приказчицы.

— Пожалуйста, уберите! — произнесла. — Я люблю радугу на небе, а не на своем письменном столе!

«Неплохо, кажется».

Визитер был не прост. Извлек, как фокусник, мгновенно из кармана и высыпал на стол звенящую струю золотых монет.

Она задумчиво пересыпала монеты сквозь пальцы.

— Когда едем? — спросила в пространство.

— Завтра в три пополудни, кроткая Тэффи, — последовал ответ. — Я пришлю таксомотор.

Поработала в Ессентуках, отдохнула на славу, кавказских вин перепробовала. Популярность, что ни говори, вещь привлекательная.

Ее приглашают на чтения с эстрады, литературные вечера, домашние посиделки знаменитостей. Получила приглашение от Сологуба: «Милости прошу в субботу к нашему шалашу. Будут братья-писатели».

Вспомнила по дороге. В пору дружбы с большевиками, когда ее стихотворение «Пчелки» напечатали в ленинской газете «Новая жизнь», кто-то из знакомых литераторов рассказал со смехом: революционный ее стишок напечатал где-то под своим именем, слегка переделав, известный символист Федор Сологуб.

Знакомясь в скромной казенной квартире на Васильевском острове с хозяином (Сологуб работал преподавателем в городском училище), она не удержалась, спросила:

— Федор Кузьмич, вы, говорят, переделали на свой лад мои стихи?

Он, полускрыв глаза, склонил к ней скучающее лицо.

— Какие стихи?

— «Пчелки».

— Это ваши стихи?

— Мои. Почему вы их забрали себе?

— Да, я помню, — он зевнул, — какая-то дама читала эти стихи, мне понравилось.

Я и переделал их по-своему.

Она строго на него посмотрела.

— Эта дама я. Слушайте, ведь это нехорошо — забрать себе чужую вещь!

— Нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет.

Она засмеялась.

— Ну, вот видите, — заключил он. — Значит, оба мы довольны.

Кто-то из присутствовавших спросил, пишет ли она роман?

— Пишу, — брякнула.

«Что это я совсем?»

Сологуб:

— Прекрасно, расскажите.

— Собственно, пока только замысел, — стала она давать задний ход. — Готова первая фраза: «Вера сидела у окна».

— Интересно.

— Но я ее переделала, — ее уже несло. — Решила, поразмыслив, что фраза эта заставит описывать либо сельский пейзаж, либо серое, как солдатское сукно, петербургское небо. Иначе нельзя: Вера же в окно смотрит. Решила пересадить ее куда-нибудь подальше от окна. И пейзажа не надо, и в спину не дует.

В комнате засмеялись, дремавший обыкновенно на домашних посиделках Сологуб придвинул голову.

— Так, так, что же дальше?

— Думала посадить на диван, потом на стул. Написала: «Вера сидела на стуле».

Хохот в ответ.

— Сидючи она думает о всяком разном. О женихах, новой шляпке к лету, бабушке Аниките Ильиче Густомыслов...

— Ой, не могу! — чей-то голос.

— ...Который любил сидеть, покуривая, у окна и не боялся сквозняков.... В общем, — закончила под аплодисменты и хохот, — вернулась по зрелому размышлению к начальной фразе: «Вера сидела у окна». В ближайшее время собираюсь продолжить...

В мае отмечали, по обыкновению, годовщину со дня смерти отца. Побывали на кладбище, помолились, свечи поминальные зажгли. Сидели, отобедав, в гостиной, листали альбомы с фотографиями, вспоминали минувшее.

— Кишмиш, не сопи носом, — пристукнула ее по коленке Варя.

Всем стало весело. Щекотали друг дружку, визжали, умирали со смеху.

В детстве сестры прозвали ее «Кишмиш». За маленький рост. Она не обижалась: мелкий кавказский изюм ужасно любила. Так же как черный хлеб.

— Мама, помнишь, как она перед завтраком умолила кухарку дать ей два куска черного хлеба с солью, а потом запила все это водой из-под крана?

— Еще бы не помнить, — матушка с усмешкой. — Был постный день, ей на тарелку положили пирожок с грибами, ушицы налили. Все с аппетитом едят, а она вилкой водит по скатерти и гримасы строит. Я ей: «Надя, что с тобой, почему ты не ешь?» А она в ответ очередную гримасу.

Лена:

— Тут ее кухарка и выдала!

— Наказали ни за что, — насупила она брови. — Целый день одна в детской просидела.

— А как вас иначе, голубки, уму-разуму было учить, — молвила матушка.

Старенькая, усохла вся.

Обнялись, прощаясь, на пороге, долго не отпускали друг дружку.

— Девочки пишут?

Мать утирала глаза.

— Пишут. Нечасто.

— Не по-людски это, Надюша: дети с отцом, ты здесь. Помирились бы, семья все же.

— Мама, сколько можно, а? — повысила она голос.

— Не буду, не буду!

Ехала домой трамваем, смотрела в окно. «Киш-миш», «кишь-мишь», — стучало под полом.

Написанный спустя неделю, опубликованный в «Русском слове» рассказ «Кишмиш» о девочке Лизе положил начало серии ее основанных на реальности историй с героями-детьми, закрепивших за ней репутацию тончайшего знатока детской души.

Ничего не придумывала, оживали под бегущим пером счастливые дни. Бабушка, свесившись с подоконника, звала к вечернему чаю, а ей хотелось поиграть еще немного на заднем дворе в «палочку-воровку», сидеть, притаившись, в сумерках на ветке дерева, пока рядом бродит в поисках прятальщиков вечно куличивший гимназист-неудачник Базырев Володька. Бежала наперегонки с двоюродными сестрами по летнему лугу в имении тети Алисии, остановилась, запыхавшись: курлыканье над головой, цепочка журавлей в синеве неба. Следила, стоя у калитки, как перевесился через забор соседский Мишка и, дрыгая для равновесия высоко поднятой ногой, обрывает росшую у скамейки зеленую смородину. Стояла у зеркала, закинув руки за голову, как дева в шальварах на картине «Одалиска», кричала радостно: «Какая я красавица! Боже мой, какая я красавица! Через три года мне шестнадцать, и я смогу выйти замуж!» Чувствовала себя на самом деле девчонкой, недаром Сологуб обмолвился как-то по поводу ее вещей в сборнике «И стало так»:

— Вы, уважаемая, метафизически тринадцатилетняя девица.

Тринадцатилетняя, точно! Вчера ведь только мальчишка из параллельного класса уговаривал, чтобы она непременно пошла с ним за три версты смотреть на древесный нарост, под которым шевелится, по его словам, какой-то зверь, и она, конечно, пошла и, конечно, никакого зверя не увидела. Позже пастух принес с поля осиный мед и опять же решил, что именно ей это страшно интересно. И каждый раз при этом прислуга выбегала посмотреть, как она будет удивляться и ахать, и она в самом деле удивлялась и ахала. Девчонка, Кишмиш, кто же еще?

Вышли вслед за «Кишмишем» из печати «Весна», «Катенька», «Дон Жуан». Мир детских радостей, вера в чудеса, простодушие, наивность, переживания. Попытка встать, приподнявшись на цыпочки, вровень со взрослыми, непонимание с их стороны. Читательский успех ошеломительный, несколько рассказов вошли по рекомендации Министерства просвещения в учебные хрестоматии для училищ и гимназий, по ним пишут сочинения на уроках русского языка.

Охладевала к «Сатирикону». Чувствовала, что переросла мелкотемье, зубоскальство ради зубоскальства, комариную сатиру. Большую часть вещей печатала в «Биржевых ведомостях» и «Русском слове», ставших постоянным местом работы. Смех ее менялся, анекдотические истории, составлявшие основу бытовых зарисовок и миниатюр, становились сюжетной беллетристикой. С изрядной долей яда по отношению к многоли-

кому, вездесущему, нахрапистому мещанству, «человекообразным», как она выражалась, и всегда сочувствием к забитым жизнью простым людям: чиновникам, студентам, военным, кухаркам, нянькам, прачкам, кучерам. Маленькому, простому человеку, поглощенному каждодневными заботами, семейными неурядицами, мелочами быта, далекому от политики, войн, революций, классовой борьбы.

Рабочий ее распорядок усложнился, каждодневная гонка. Не умолкает телефон: где обещанный фрагмент в «Древнюю история», воскресный фельетон, миниатюра, рассказ? В номер, в номер! Чувствует временами, что в запарке, гонит вал, успокаивает себя: читают, цитируют, шквал дифирамбов в газетах.

Ударила больно по самолюбию умная, язвительная статья старшего товарища по цеху Александра Валентиновича Амфитеатрова в журнале «Современник». Кто-то из услужливых доброхотов поторопился прислать домой свежий номер с жирно отчеркнутым заголовком: «Тэффин грех».

Читала, мрачнела с каждой минутой.

В недавние пушкинские дни талантливая поэтесса-фельетонистка г-жа Тэффи имела несчастье смешать «Птичку» Пушкина с «Птичкою» Туманского в очень чувствительном рассказе о том, как «Птичка» Туманского будто бы выучила ее обожать Пушкина. Впечатление получилось, конечно, весьма комическое, но ужасного и позорного в ошибке г-жи Тэффи ничего нет — во всяком случае, нет настолько, чтобы наброситься на нее с таким злорадным остервенением, как постарались братья-писатели. Нет ничего удивительного, если у слишком много пишущего и в бойкой столичной жизни кипящего, а потому вряд ли много читающего и, в особенности, перечитывающего старых классиков автора смешались в памяти два стихотворения на одинаковую тему, в одном и том же размере, одной и той же эпохи. Никто из нападающих, конечно же, не верит серьезно, чтобы г-жа Тэффи была незнакома с поэзией Пушкина. Тут скорее есть другая печальная сторона: очевидно, г-же Тэффи некогда перечитывать не только Пушкина, но даже и собственные фельетоны перед отправкою их в печать. Потому что ошибиться, заблудясь между Пушкиным и Туманским, это — допустимое дело. Но как положить подобную ошибку в основу довольно большого фельетона, возвращаться несколько раз к ее лейтмотиву и наконец обратит ее в эффектный финальный аккорд? Все это возможным становится, лишь когда пишется не подумавши, а печатается не проверивши. Когда человек не столько пишет, сколько «валяет». Видеть г-жу Тэффи в сонме валяющих тем более жаль, что и самый характер таланта ее — отнюдь не для валятельной практики. Ее письмо тонкое, интимное, детальное. Грубый размашистый мазок, который создает эффект декорации, превратил бы миниатюру первым же прикосновением — да что прикосновением! — одним брызгом кисти — в грязное пятно. Я очень люблю читать Тэффи. В современной русской юмористике ее фигура несомненно самая изящная. Но именно потому ни на ком из бесчисленных русских юмористов не заметны так пятна распустешества, как если распускает свое дарование нарядная и изящная Тэффи. Ее поэтический юмор только тогда и действителен, когда он с головы до ног одет по всем требованиям хорошего европейского тона. И если она, увлекаясь хулиганствующей модою, пробует быть размашистою, это бросается в глаза, как грязный носовой платок, повязанный вместо галстука гостем на великосветском балу. Другому и не то сошло бы — еще смешнее! — а у нее глаза режет, корбит. Дело г-жи Тэффи — салонный, сдержанно улыбающийся, лирический юмор. Ни ухарем-кушцом с гостинодворским зубоскальством, ни хулиганом с остроумием из исправительного приюта, ни «Буяновым, моим соседом», ей не бывать, и когда она пробует ими притвориться, становится не симпатична. Юмор ее — изящный туалет, который нельзя одеть как попало: требует, чтобы его хорошо примерили, приладили и, прежде чем в люди выйти, несколько раз пристально и внимательно оглядели бы в зеркале. Когда г-жа Тэффи выступает во всеоружии такой внимательной проверки, это — она сама,

и тогда ее сопровождает заслуженный успех. Наоборот, в «неглиже, с отвагой» Тэффи словно не Тэффи, а обменок, скучно празднословящая резонерка, натянутые остроты которой напоминают о капоте с обтрепанным подолом и о пуговицах, инде висящих на одной ниточке, инде вовсе отлетевших. Госпожа Тэффи рождена быть в литературе барыней, дамой. В фигурах котильона она — красота, но «танец апашей» у нее, хоть ты что, не вытанцовывается.

Есть такое выразительное русское слово — «халда». Ну так вот этой самой «халды» в литературной натуре г-жи Тэффи нет даже на кончике ногтя. Казалось бы, и великолепное дело! Но г-жу Тэффи этот органический пробел, по-видимому, огорчает, так как в наш век модно, что называется, *s'empasanailler* (подлое, низкое — фр.). И вот отсутствие распустешества естественного г-жа Тэффи нет-нет да и попробует подменить распустешеством искусственным. К сожалению, многописание г-жи Тэффи с обращением юмора в постоянное газетное ремесло весьма способствует такому подменному процессу. Потому что когда время — деньги и ремесло торопит, то, конечно, распуститься и скорее, и легче, чем подобраться и нарядиться. Через это творчество ее часто идет не туда, куда его манит талант, но по пути, приближающему обязательную цель в возможно кратчайший срок и с наименьшею затратой энергии. Одним из промахов вот этого-то ремесленного распустешества наспех явился и фельетон «Мой первый Пушкин», доставивший г-же Тэффи столько неприятностей. Читая этот фельетон за тридевять земель, я по старому опыту и «нюху» был уверен, что скандал из него постараются сделать, и не без интереса ожидал — совсем не того, как и кто изобличит г-жу Тэффи, но как ловко она обратит свое курьезное приключение в смех и, признавшись в ошибке, остроумно отшутится, обезоружив привязавшихся к ней обличителей. Но каково же было мое огорчение, когда г-жа Тэффи вместо того взяла и... рассердилась! Настаивает на том, будто путаница двух «Птичек» устроена ею не по нечаянной ошибке, но преднамеренно... Клеплет на себя г-жа Тэффи! Не из тех она голов, которые не знают разницы между мачичем и панихидою! Не способна в виде нарочитого «трюка» показать публике язык, когда поют «вечную память»! Ложный стыд сознаться в промахе хорошего лирического порыва гонит талантливую женщину к настоящему стыду мутного зубоскальства — над чем?..

Рыцарь смеха прекрасен, когда он в то же время рыцарь духа. Смех прекрасен, когда он озаряет движение общественности, когда ясна его культурная цель, когда светлою стрелой летит он во мрак, убивает и ранит его чудовищ. Талант к такому хорошему смеху есть у г-жи Тэффи, неоднократно мы его от нее слышали, и хотелось бы чаще и чаще слышать. Что же касается смеха беспредметного, смеха для смеха, нутряного смеха, едва ли не правду сказал современный поэт, что его беззаботность миновала для людей: «пусть смеются боги и глупцы!» Г-жа Тэффи вряд ли числит себя в сонме богинь, давно вышла из детской и очень умна. Следовательно, «скворцом свистать, сорокой прыгать» на потеху всероссийского мичмана Петухова с компанией ей не к лицу и «невместно»...

Она сидит задумавшись. История с наделавшим шуму фельетоном осталась вроде бы позади. Она в самом деле не знала историю написания на спор Пушкиным, Дельвигом и Туманским трех четверостиший на заданную тему, считала, что читанный когда-то в детской хрестоматии популярный стих принадлежит Пушкину. Сцепилась сгоряча с критиками, уверяла, что это никакая не ошибка, а обдуманнный абсурдистский прием — глупо, конечно, Амфитеатров прав. И вообще, он о другом, «Птички» — повод. О том, что распустешествовалась (чудесное словечко, надо взять на вооружение), гонит халтуру ради заработка...

«Бывает, гоню, никому не денешься».

Телефонный звонок.

— Надежда, читала?

Аркадий.

- Мэтр, по-моему, взял чересчур менторский тон. Ты не находишь?
- Не нахожу. И тебе не советую, — закрутила зло ручку телефона...

Бунин пригласил посидеть в среду в «Собаке».

- Жена приболела, составите компанию?

Она помчалась к парикмахерше.

- Зина, решилась, кромсайте!

— Давно бы, Надежда Александровна, — закутывала ее в крахмальную простыню толстуха Зина. — А то прям барыня старосветская. С вашими-то прелестями.

Шагнула полчаса спустя за порог дамского салона, вскинула коротко стриженную головку с косой челкой на лбу, застучала каблучками к трамвайной остановке. Женщины-вампы, держитесь, мужчинки!

- Бо-бо-бо! — заглянул в гостиную Бунин. Стройный, элегантный.
- Как вам? — встряхивала она локонами.
- Сражен наповал.
- То-то же.

К подъезду дома на Михайловской площади подъехали в одиннадцатом часу вечера, прошли третьим двором через арку, спустились по узким ступеням в подвал, толкнули обитую клеенкой дверь.

— Богиня! — кинулся к ней из угла прихожей владелец кафе, антрепренер Борис Пронин. Расцеловал руки, проводил к вешалке, помог раздеться. — Правила, надеюсь, не забыли?

- Помню, не забыла...

Подошла к раскрытому на полке фолианту в свиной коже, «Свиной книге», как называли ее завсегдатаи, написала карандашиком пониже чьих-то свежих стихов, рисунков и автографов: «Мне надоели мои советчики — что мне делать, посоветуйте? Надежда Тэффи».

Прошли, раздевшись, в сводчатую зальцу. Шум, папиросный дым. Бунин оставил ее за столиком у дощатой эстрадки, ушел в буфетную, где закипал самовар. Она озираясь по сторонам. День был для своих, посторонних, «фармацевтов», как называли их завсегдатаи из мира искусства, не было. Пылал огонь в камине, светились по стенам лампы, отсвечивали на расписном потолке, где среди экзотических плодов возлежала широкобедрая красавица, напоминавшая жену автора росписи, актрису и танцовщицу Ольгу Глебову-Судейкину, чья показная распущенность служила примером для столичной «золотой молодежи». Будучи замужем за Судейкиным, открыто встречалась с Кузминым, который в свое время сам был любовником мужа, делилась похождениями с друзьями и знакомыми, каждую минуту готова была на немислимую вольность.

А вот и она — легка на помине!

Полуодетая, с кукольным личиком, вспорхнула под руку с затянутой в черный шелк Ахматовой (подруги, водой не разольешь), отпила из поднесенного кем-то бокала, крикнула задорно:

- Всех люблю!

Входили, толпясь, завсегдатаи, приветствия, объятия, поцелуи. Кланялись издали: Георгий Иванов, Петров-Водкин, Добужинский, Гумилев, Леонид Андреев, Сологуб (послал воздушный поцелуй). Ввалилась шумная компания футуристов во главе с медведеобразным Бурлюком, Маяковский в желтой кофте и размалеванным краской лицом помахал в ее сторону ручкой.

- В одиночестве? — плюхнулся рядом Алеша Толстой.

— Станный вопрос, — метнула она на него взгляд. — Тэффи, и в одиночестве. С Буниным.

- Ого, заарканили?
- Пока на подступах...
- Ясно. Рекогносцировка, окружение...
- Артобстрел. А ты чего один?
- Дочура прихворнула. Софочка с ней.
- Дама занята.

Бунин с бутылкой и бутербродами.

- Нет вопросов, — поднялся с места Толстой. — Буду страдать в одиночестве.

Вечер удался. Читали стихи: Ахматова, Гумилев, Осип Мандельштам, приехавший с молодой женой Александр Блок. Полуобнаженная Глебова-Судейкина станцевала на опрокинутом зеркале что-то экзотическое, ей долго бисировали, Сологуб произнес с места экспромт:

— Оля, Оля, Оля, Оленька! Не читай неприличных книг, а лучше ходи совсем голенькая и целуйся каждый миг.

На эстрадку поднялись двое рабочих, уложили внутрь открытого рояля несколько листов железа, какие-то предметы.

— Конкретная музыка! — объявил исполнявший роль конференсье Михаил Кузмин с густо накрашенными бровями. — Исполнитель Илья Сац!

Севший за инструмент музыкант ударил со зверским выражением лица по клавишам — рояль загудел, заголосил, запричитал, как припадочный, — зал взорвался бурей аплодисментов.

Подсел на минуту к столику Кузмин, попросил почитать что-нибудь веселенькое.

- Чтоб животы надорвали.
- С животами не хочется, хотите сюрприз?
- Разумеется, в чем соль?

Она зашептала ему на ухо. Сочинила под настроение минорный стишок, придумала немудреный мотивчик, попросила приятельницу, эстрадную певицу и актрису Бэллу Казарозу спеть.

— Прекрасно, — Кузмин побежал к эстраде. — Господа, минуточку тишины, — обратился в зал: — У Тэффи и Бэллы Георгиевны сюрприз.

- Только не шпагоглотание, ради бога! — чей-то голос.

Она села за рояль, взяла первый аккорд, стоявшая рядом миниатюрная Бэлла с алой розой в смоляных волосах запела с нежной грустью:

Мой черный карлик целовал мне ножки,
Он был всегда так ловок и так мил,
Мои браслетки, кольца, серьги, брошки
Он убирал и в сундучке хранил.
Но в черный день печали и тревоги
Мой карлик вдруг поднялся и подрос,
Вотще ему я целовала ноги —
И сам ушел, и сундучок унес!..

Романс на другой день пели в салонах, предприятие Иоганна Моллья заключило с ней контракт, выпустило тысячным тиражом пластинку с ее и Бэллы портретами.

- Карлик, по-видимому, я? — спросил при встрече Аверченко.

— Ты слишком большого о себе мнения, Аркадий. Ты не карлик. Скорее кузнецик-попрыгунчик. Прыг сюда, прыг туда.

На вечер в «Бродячей собаке» он пришел с несколькими актрисами Павловского театра, сидел за дальним столиком рядом с красивой брюнеткой Александрой Садов-

ской, выступавшей в театре в амплуа молодых героинь, с которой у него, по слухам, завязался роман.

Собственный ее роман, похоже, себя исчерпал, приходящий любовник наподобие полотера ее не устраивал.

— Мы оба вольные птицы, — говорила, разливая чай. — Никто никому ничем не обязан. Куда хотим, туда летим.

— Где понравилось, — он грустно улыбался, — там и приземлились.

— Правильно.

— Следующая стоянка в Бунино? Он же вроде женат.

— А вот это, мой милый, не твое собачье дело!

3.

Перевал

Обыватель из провинции, оказавшийся ненадолго в столице, озирается растерянно по сторонам: Вавилон! Банки с иностранными вывесками на каждом шагу, страховые общества, конторы, рестораны, иллюзионы. На улицах не протолкнешься: тянутся вдоль проспектов чадающие дымом авто, лошади в пролетках шарахаются от вывернувшегося из-за угла трамвая. Что-то нездоровое в людях: возбуждены, в глазах лихорадочное веселье — снова живем, гуляй, Россия! Очереди у касс синематографов, каждая новая «фильма» с участием Макса Линдера, Александра Мозжухина, Веры Холодной привлекает в иллюзионы толпы поклонников. В отличие от обретшего золотое обеспечение русского рубля падает стремительно мораль. Начитавшиеся арцыбашевского «Санина» ученицы гимназий мечтают о шикарных связях, под натиском феминистских идей рушатся семейные очаги. Все поголовно ударились в мистику: что ни дом — собрание теософов, спиритические сеансы с вызыванием духа мертвых, столоверчения, карточная ворожба. Над несущейся в туманное будущее страной сладкой отравой витает поэзия Блока, знаменитая его «Незнакомка». «И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука». Продрогшие проститутки на Невском проспекте обращаются, хлюпая носами, к проходящим мимо мужчинам: «Я Незнакомка, хотите познакомиться?» Никто, исключая замшелых ретроградов, не желает быть порядочным, напоказ выставляются пороки, извращения, душевная червоточина...

— Назовите это болезнью нового века...

Говоривший, по обыкновению, со скучающим видом Сологуб пробует сдуть с лацкана сюртука невидимую волосинку.

— ...У общества высокая температура, но в кризисный период это и естественно, и полезно для организма: больной вот-вот пойдет на поправку...

— Или благополучно помрет, — Куприн.

— Не тот случай, Александр Иванович.

На квартире у нее очередной «синий» вторник, как назвал еженедельные ее литературные посиделки поэт Василий Каменский. Все свои: писатели, актеры, художники. Говорят вразнобой, пьют чай, грызут сушки. Она любит придуманной когда-то живой композицией: посадила, как всегда, рядышком на диван дивно худых, элегантных и высоких Ахматову, Саломею Андрееву и жену Сергея Городецкого Нимфу. Дала каждой по розе на длинном стебле, на фоне синей спинки дивана и синей стены это выглядит изумительно.

- У красавицы Саломеи талант: умение и любовь поболтать.
- Хочу наговорить пластинку, которую вы послушаете на моих похоронах, — смотрит задумчиво в потолок. — С благодарностью, что почтили усопшую.
 - Бог мой, — кричит Гумилев, — она и после смерти намерена ораторствовать!
- Кашляет в кулак Ахматова, жалуется с дивана:
- Кости ноют!
- Сологуб (ему удалось наконец сдуть пылинку):
- Прижигание, прижигание...
 - Не люблю ночь, — заговорила она. — Такая тоска от звезд. «Звезды говорят о вечности», это-то и есть ужас. Считается, что если страдающий человек посмотрит на звезды, то сейчас же почувствует себя ничтожеством и успокоится. Вот чего я совсем не понимаю. Почему обиженному жизнью человеку приятно его окончательное унижение, чувствовать себя ничтожным? Кроме горя, тоски и отчаяния, получай еще последнее — плевков от вечности!
 - Помедленней, пожалуйста, Надежда Александровна, — отзывается наприсившийся в гости преданный читатель, старичок генерал из Оренбурга, строчащий в блокнот. — Не успеваю записывать.

Городецкий читает:

В пыльном дыме скрип:
Тянется обоз.
Ломовой охрип:
Горла не довез.
Шкаф, диван, комод
Под орех и дуб.
Каплет тяжкий пот
С почерневших губ.
Как бы не сломать
Ножки у стола!..
Что ж ты, водка-мать,
Сердца не прожгла?

- Надежда Александровна, — наклонился к ней генерал, — это правда, что государь регулярно читает ваши фельетоны и рассказы?
 - Читает, ничего удивительного. Просто у человека, как и у вас, хороший вкус.
 - Золотые слова, записываю!
 - Почитали бы, Федор Кузьмич, — просит она.
- Достает с книжной полки томик «Мелкого беса».
- Не в форме я, голубка, да и голос... — Сологуб снова заскучал.
 - Можно тогда мне? — она листает быстро страницы. — Вот, нашла... Место, где Саша нарядился в дамскую юбку и чулки, и они беседуют с Людмилой, обнявшись, на диване...
 - «Люблю красоту, — принимается читать. — Язычница я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, есть душа. Не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем, как русалка, как тучка под солнцем растаю. Я тело люблю, сильное, ловкое, голое, которое может наслаждаться... — Да и страдать ведь может, — тихо сказал Саша... — И страдать, и это хорошо, — страстно шептала Людмила. — Сладко и когда больно, только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную»...

— Пришла проблема пола, румяная фефёла, и ржет навеселе, — декламирует под общий хохот Саша Черный.

— Чай холодный, — Сологуб отодвигает в сторону чашку. — В гости еще приглашают. И варенье съели.

— Люда, подогрейте чай! — кричит она на кухню. — И банку варенья откройте!

— Малинового, Люда, — Сологуб.

Подсел со стулом Толстой явившийся с новой женой, художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц, потянул выразительно носом:

— Прелесть какие у вас духи...

Разговор снова стал общим, она выпустил его из виду, спустя недолгое время он возник из темного провала спальни — все ахнули: костюм от плеча до колен залит чернилами! Оглядел себя, развел руками.

— Что за свинство, — набросился на нее, — ставить на туалетный столик чернила? Костюм новый испортил!

Перед тем как лечь в постель, она записала, подойдя к столу, в рабочую тетрадь: «Толстой. Чернила. Костюм». Сгодится в хозяйстве. Как это у гоголевского Плюшкина? «Веровочка? Давай веровочку».

Неоспоримая, устойчивая слава. Рассказы и фельетоны в газетах, журналах и альманахах, афоризмы в календарях, шутки, выдаваемые за народные анекдоты. Выходит каждый год новый прозаический сборник, на сценах обеих столиц и в провинции ставятся драматические миниатюры и скетчи. Поездки по стране с лекциями, живое чтение с эстрады, фотографии на книжных прилавках рядом со звездами кинематографа, письма поклонников. Посыльный принес красочную коробку кондитерской фабрики Бликстон и Робинсон («Подарок очередного почитателя», — подумала привычно). Стала развязывать шелковую ленту, потянула крышку, ахнула: на бархатной подстилке рядами обернутая в пестрые фантики карамель с ее портретом и именем: «Тэффи».

Привыкла к всенародной любви. Бывает, устаешь, хочется покоя, тишины: не девочка, сорок годочков. «Сорок, боже! Когда это я успела? Надо с этим что-то делать. Грудь в крестах или голова в кустах. Третьего не дано».

Сказано — сделано! Лыжи и коньки зимой, летом велосипед (смотрится эффектно, шуточки-прибауточки мужчин за спиной). С первым теплом морские купания. Соленой воды нахлебаешься, прыщ от мокрого платья вскочит в деликатном месте, но молодит чертовски.

Зарабатываем, слава богу, прилично: все силы — на алтарь красоты. Два раза в неделю дамский салон Генри Делькроа на Большой Морской: укладка волос, массаж лица, маникюр. Платья и туалеты в модном магазине Бризака, шьющего одежду по заказам царской семьи, туфли и ботиночки, ясное дело, от Вейса.

«Так сколько же, вы сказали, нам лет? Плохо слышу, повторите! Правильно: тридцать два. Точнее, тридцать».

— Петя, что нового? — разглядывает себя, вернувшись домой, у зеркала в новой меховой шляпе.

«Теснит вроде. Или ничего?»

Отвечающий за литературное хозяйство студент-заочник Петербургского университета протягивает пухлую папку.

— Корректуру «Карусели» прислали из типографии.

— Замечательно! — она держит в руках пухлую стопку листов, остро пахнущих типографской краской. — Петя, дорогой, почитайте сами, хорошо? Я же рассеянная, вы знаете, опечатки пропускаю. И утомилась чего-то сегодня.

- Да, да, разумеется, Надежда Александровна, — он забирает корректуру.
- Что-то еще?
- Это не срочно. Опросник из Литературной энциклопедии. Оставил на столе.
- Спасибо, Петя, пойду прилягу, — шагает она за порог.

Сбросила туфли, легла на диван, прикрыла глаза.

Шум улицы за приоткрытой балконной дверью, пахнувший дождем свежий ветерок из-под занавески. Знакомый голос ниоткуда:

«Посидим тихо-тихо, не зажигая огня, хорошо?..»

Мужчина из ее донжуанского списка. Точнее, афродитского. Материал для будущих биографов и сплетников. Ни имени, ни фамилии, ни адреса, просто мужчина. Можно — дорожный мужчина.

Слышит стук вагонных колес, крик паровоза в ночи, чувствует сильные мужские руки на плечах.

«Как вас все же зовут, чудо чудное?»

«Зовите, как хотите».

«Чудо-чудное, хорошо?»

«Хорошо».

Возвращалась из Симферополя после премьеры своей одноактной пьесы «Черный ирис» в местном театре. Лето, июль, в купе с бархатными диванами не продохнешься. Есть не хотелось, пила стаканами сельтерскую воду в вагоне-ресторане, слушала соседа по столу, рассказывавшего о командировке в холерные районы.

— Не нашли никакой, к черту, холеры, — отдувал пену в пивной кружке. — Перепьются, ну их и тошнит. А начальству лишь бы перестраховаться, гонят нашего брата-медика абы куда. Готовый для вас сюжет, госпожа Тэффи.

— Извините, — поднялась она из-за стола, — я, кажется, забыла запереть купе.

Стояла в коридоре, смотрела, как садится за дальними холмами распаренное малиновое солнце.

— Мечтаете?

Молодой мужчина в форме железнодорожника. Сероглазый, светлые усики.

— Мечтаю, когда наконец доеду.

— Еще ночь и половина дня.

Пошел к тамбуру, обернулся.

— Плевицкую любите?

— Люблю, а что?

— У меня в вагоне патефон с новыми ее пластинками.

— Не поняла, вы что, едете в собственном вагоне?

— Именно так. В техническом. Я инженер-инспектор дорожного хозяйства... Ну как, послушаем Плевицкую?

Шла за ним в хвост поезда через коридоры, тамбуры, лязгающие железом переходные мостики. Он отпер, достав из сумки связку ключей, тяжелую дверь с зарешеченным окошком.

— Прошу.

Сумеречное помещение, гора ящиков в углу, нагромождение механизмов. Вагон раскачивало, она с трудом держалась на ногах, села на привинченную к полу, застеленную грубым сукном металлическую кровать. Он сел рядом, прижал к себе.

— Плевицкая потом, хорошо?..

Шагая в толпе пассажиров за тележкой носильщика на перроне Балтийского вокзала, искала взглядом черный технический вагон в хвосте состава, не нашла: отцепили, должно быть, по дороге. Не осталось ни имени, ни адреса, только голос: «Посидим тихо-тихо, не зажигая огня, хорошо?»

Хотелось оживить на бумаге переживания от той встречи. Пассажирка, случайный попутчик. Необязательно поезд, лучше пароход. Путешествующая публика, кают-компания, обстановка свободы, восходы, закаты. Знакомства, неизбежный флирт. Вспомнила капитана в белом кителе и фуражке, который отдал ей честь, стоя на палубе грузового катера, когда она лежала, стреножив коня, на берегу Сожа... Да, да, непременно должен быть капитан, только не бравый ходячий тип, скорее, наоборот, возможно, неудачный соперник главного героя. Женщины, разумеется. Замужние, теряющие голову...

«Вечер был тихий, розовый, — писала за столом. — Зажглись цветные фонарики на буйках, и волшебно, сонно скользил между ними пароход. Пассажиры рано разбрелись по каютам, только на нижней палубе еще возились тесно нагруженные пыльщики-плотники да скулил комариную песню татарин.

На носу шевелилась ветерком белая легкая шалька, притянула Платонова.

Маленькая фигурка капитанской жены прильнула к борту и не двигалась.

— Мечтаете? — спросил Платонов.

Она вздрогнула, обернулась испуганно.

— Ох! Я думала, опять этот...

— Вы думали, этот медик? А? Действительно пошловатый тип.

Тогда она повернула к нему свое нежное худенькое личико с огромными глазами, цвет которых различить уже было трудно.

Выплыла луна, совсем еще молодая, еще не светила ярко, а висела в небе просто как украшение. Чуть плескалась река. Темнели леса нагорного берега. Тихо.

Платонову не хотелось уходить в душную каюту, и чтобы удержать около себя это милое, чуть белеющее ночное личико, он все говорил, говорил на самые возвышенные темы, иногда даже сам себя стыдясь:

— Ну, и здоровая же брехня!

Уже розовела заря, когда, сонный и душевно умиленный, пошел он спать...»

Сюжет выстроился, интрига была ясна до последней точки. Холодный покоритель женских душ и тел Платонов, севший на пароход, чтобы встретиться с наскучившей любовницей, походя соблазняет трепетную, романтическую жену капитана.

«...На другой день было это самое роковое двадцать третье июля, — продолжала писать, — когда должна была сесть на пароход всего на несколько часов, на одну ночь Вера Петровна. По поводу этого свидания, надуманного еще весною, он получил уже с дюжину писем и телеграмм. Представлялось чудное поэтическое свидание, о котором никто не узнает. Муж Веры Петровны занят был постройкой винокуренного завода и проводить ее не мог. Все шло как по маслу.

Предстоящее свидание не волновало Платонова. Он не видел Веры Петровны уже месяца три, а для флирта это срок долгий. Выветривается. Но все же встреча представлялась приятной, как развлечение, как перерыв между сложными петербургскими делами и неприятными деловыми свиданиями, ожидавшими его в Саратове...»

Большой рассказ размером с небольшую повесть она написала за три дня. Всплакнула над заключительной главкой. Было жаль Веры Петровны («Господи, как у всех, как она, все шиворот-навыворот!»). Жаль жены капитана, его самого, жаль себя, сорокалетнюю... «Утром, после очень холодного прощания («Она же еще на меня же и дуется», — недоумевал Платонов) Вера Петровна сошла с парохода.

Вечером легкая фигурка в светлом платьице сама подошла к Платонову.

— Вы печальны? — спросила.

— Нет. Почему вы так думаете?

— А как же... ваша Вера Петровна уехала, — зазвенел ее голос неожиданно дерзко, точно вызовом.

Платонов засмеялся:

— Да ведь это же тетка вашего приятеля, холерного студента. Она даже похожа на него, разве вы не заметили?

И вдруг она засмеялась, так доверчиво, по-детски, что ему самому стало просто и весело. И сразу смех этот точно сдружил их, и пошли душевные разговоры. И тут узнал Платонов, что капитан отличный человек и обещал отпустить ее осенью в Москву учиться.

— Нет, не надо в Москву! — перебил ее Платонов. — Надо в Петербург.

— Отчего?

— Как отчего? Оттого, что я там!!

И она взяла его руку своими худенькими ручками и смеялась от счастья.

Вообще ночь была чудесная. И уже на рассвете вылезла из-за трубы грузная фигура и, зевая, позвала:

— Марусенок, полуношница! Спать пора.

Это был капитан.

И еще одну ночь провели они на палубе. Луна подросшая показала Платонову огромные глаза Марусеньки, вдохновенные и ясные.

— Не забудьте номер моего телефона, — говорил он этим изумленным глазам. — Вам даже не надо называть своего имени. Я по голосу узнаю вас.

— Вот как? Не может быть! — восхищенно шептала она. — Неужели узнаете?

— Вот увидите! Разве можно забыть его, голосок ваш нежный! Просто скажите: это я».

Война налетела неожиданно-негаданно, как вихрь из подворотни. Вышла утром из дому — голос мальчишки-газетчика с тротуара: «Сенсация! Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда!» Была через час в редакции «Русского слова». В кабинете редактора толпились сотрудники, готовый к выходу номер спешно переверстывали, курьеры несли срочные правительственные сообщения. Австро-Венгрия направила сербской стороне ноту протеста с ультимативными требованиями, часть из которых сербы после консультаций с союзной Россией отвергли. Разрыв отношений двух стран, начало военных действий, Белград обстреливается тяжелой артиллерией. Русский император обратился к Вильгельму Второму с предложением передать решение вопроса в ведение Гаагской конференции, Вильгельм на телеграмму не ответил. Указ о всеобщей мобилизации, Германия объявила о состоянии войны с Россией.

Волновалась за детей: имение в Могилевской губернии в считанные недели оказалось в районе военных действий, там шли ожесточенные бои. Ни связаться нельзя, ни чем-то помочь.

Позвонил Гумилев:

— Пожелайте благополучия, ухажу добровольцем на войну.

Ушел воевать, не дождавшись призыва, Городецкий, получили повестки и отбыли на фронт несколько посещавших ее «синие вторники» журналистов и художников, отправился на Центральный фронт Валерий Брюсов. Пришел проститься Толстой, уезжавший военным корреспондентом «Русский ведомостей» на кавказский театр военных действий.

— Хорошо быть холостым, — шутил невесело. — В случае чего, не оставлю после себя неутешную вдову.

Не остыл от семейной катавасии, недавнего развода с Софьей. Заигрались оба в свободные отношения. Дождался, что жившая по законам богемы жена изменяла ему со скандально известным поэтом-гусаром Всеволодом Князевым. Не делала из этого тай-

ны, давала мужу читать приходившие от любовника письма, называла адюльтер невинным флиртом, капризом, игрой.

Алеша, художник до мозга костей, сумел извлечь пользу даже из собственной семейной драмы, придал черты склонного к самоистязанию бесхребетного красавца гусара герою недавно завершённого романа «Хромой барин», князю Краснопольскому.

— Столько мыслей в голове, — говорил за чаем. — С дворянской темой покончено. Вернусь с войны, сяду за современную вещь. Мы с вами, Наденька, кое-что умеем...

Вести с войны доходили скудные, просеянные сквозь сито цензуры. Знающие люди уверяли: к Рождеству наши будут в Берлине. Холодным душем вылилось известие о разгроме в Восточной Пруссии армии генерала Самсонова, чудовищных потерях с нашей стороны (за первый год кровопролитных сражений больше полутора миллионов ранеными, убитыми и взятыми в плен).

Дни проходили в тревоге, напряженных ожиданиях. Остались позади патриотические манифестации с пением «Боже, царя храни!», битьем стекол в немецких магазинах. Замерзающая столица потемнела ликом, оделась в цвета войны. В объявленном на военном положении, переименованном из Санкт-Петербурга в Петроград городе действует комендантский час, выходить на улицу можно было только до восьми вечера. Быстрые сумерки, пронизывающая до костей сырость. Проталины и полыньи на закопченном льду каналов, воняющие гнилой капустой сырые подворотни, крики бьющих в колотушки ночных сторожей.

Прибывали один за другим санитарные поезда. Лечебных коек не хватало, в лицах, гимназиях, жилых домах — всюду, где наличествовали подходящие помещения, в спешном порядке оборудовались частные лазареты и госпитали.

Она записалась на краткосрочные курсы медсестер, получила через два месяца удостоверение палатной сестры милосердия, выехала с небольшим саквояжем в кузове армейского грузовика к месту службы — военно-медицинский госпитальный и реабилитационный центр в Царском Селе.

«Я увидела воочию ад, — писала матери, — никакой Данте не мог ничего похожего себе представить».

Госпиталь был переполнен, койки ставили в коридорах, подсобных помещениях, во дворе под тентами. В палатах духота, жуткий запах эфира, крови, человеческих испражнений. Стоны раненых, крики умирающих. Бесконечная череда операций, не хватает медикаментов, перевязочных средств, пил для ампутаций.

Ей пришлось подменить на несколько часов заболевшую операционную сестру. Хирург вырезал под местным наркозом пулю из груди молоденького артиллерийского прапорщика, она подавала по его требованию стерильные инструменты и тампоны, старалась не смотреть на мычавшего от боли, кусавшего бескровные губы раненого. Побежала, едва закончилась операция, к выходу, закрывая ладонью рот, ее вырвало на ступеньках.

— Сестрица, — обратился к ней во время ночного дежурства очнувшийся от наркоза кучерявый казак, — а ногу-то оставили, не отрезали, пятка чешется.

Что она могла ему сказать? Мучившемуся, несчастному?

Услышав, что он безногий, могучий красавец зарыдал, закрывшись руками.

— Сестрица, как же я теперь? — кричал. — Дуня-то моя... Дуня... не будет калеку любить, уйдет... А ребята... Чем зарабатывать буду?

Остался все-таки жить. Не так, как Ваня Щеголев.

Врач осмотрел раненого с номером «шестьдесят семь» на бирке кровати.

— Отделите и наблюдайте, — бросил, уходя.

Что это значило, она уже знала: не выживет.

Дежурство заканчивалось в двенадцать ночи, солдата перенесли в уголок у двери.

Смуглый, быстроглазый, со сросшимися бровями.

— Чего они на меня все морщатся? — промолвил, глядя из-под повязки. — Думают, я помру. Ничего я не помру. Выдумали тоже, мне помирать некогда. Домой поеду, пускской смерть за мной всугонь бежит, я от ей утеку.

Улыбнулся.

— Слыхала, сестрица, как лебеди поют? У нас в Сибири их много. Надо только с подветру подойти, камыш не рушить. Ти-ихо, они близко не подпустят. А еще ведмедя смотреть. Луна светит, томно ему, лежит на спине, брюхо мохнато, лапы задрал, гнилую корягу цапает. А гнилье щепитса, брррынь. Ведмедь слушает, урлит, тоже поет. А ты говоришь — помирать.

— Что ты, голубчик! — она крепко сжала его руку. — Я так не говорила. Бог даст, поправишься.

В полночь ее сменили. Утром зашла в палату: кровать возле двери белая, ровная, застлана чистой гладкой простыней. А Вани Щеголева нет.

«Слышала, как лебеди поют?»

Сталкивалась несколько раз, проходя соседним отделением, с работавшими сестрами милосердия императрицей и двумя великими княжнами — Татьяной и Ольгой. Их без конца фотографировали, снимали для кино. В один из дней, когда она отдыхала после дежурства в сестринской комнате, в дверь заглянул фатоватого вида толстячок во френче.

— Не подскажите, где найти госпожу Тэффи?

Она спустила ноги с застеленных солдатским одеялом носилок.

— Я Тэффи.

— Ага, минутку... Лева, — закричал, — нашел! Давай тащи!.. Простите, не представился: фотокорреспондент и режиссер Александр Дранков...

Толстячок озирался по сторонам.

— Здесь, пожалуй, не интересно, — произнес, — лучше во дворе. Лева, — крикнул тащившему через порог увесистую треногу ассистенту, — вертай во двор!

— Вы, может быть, все-таки объясните, зачем пожаловали, господин Дранков? — произнесла она недовольно. — У меня короткий перерыв, через полчаса на дежурство!

— Выполняю поручение Скобелевского комитета, вот предписание, — он полез было в карман френча.

— Да не надо предписания, в чем цель визита?

— Сделать снимок для газет. Известная писательница Надежда Тэффи выполняет патриотический долг, служит сестрой милосердия в одном из военных госпиталей.

— Хорошо, снимайте, — она повязала на голову косынку.

— Во двор пожалуйста.

Газетный волк, что называется. Забрал у часового на входе винтовку, дал ей в руки. Снимок вооруженной (для какого дьявола?) сестры милосердия, писательницы и фелетонистки Надежды Тэффи опубликовали ведущие газеты и журналы России, британская «Таймс», французская «Фигаро», американские издания.

«С винтовкой у забора, ужас какой-то!»

В свободные часы она писала под диктовку раненых письма родным, читала собственные вещи, пела под гитару. Находила время для сочинительства, темы были под рукой. Сообщения с полей сражений, рассказы пациентов о пережитом. Принимала участие в литературных сборниках и альманахах: «Современная война в русской поэзии», «Мы помним Польшу», «Эпизоды войны». Под впечатлением от разговора с выздоравливающим сапером написала рассказ «Тихий». Раненый, у которого большое сердце, оказывается по недосмотру комиссии на войне, получает ранение, лечится в госпита-

ле, идет на поправку. Врач советует ему непременно поведать на очередном освидетельствовании про больное сердце, вручает справку. «Попадете в слабосильную команду». Сапер отказывается: «Стесняюсь я очень. Потому у других, у кого руки не хватает, у кого ноги не хватает, а кто и вовсе калека. А я здоров. У меня все есть. Я стесняюсь».

Положила в основу абсурдистского рассказа другую услышанную историю.

В лазарет привезли новых раненых. Главная патронесса Анна Павловна кричит в телефонную трубку:

«Марья Петровна, приезжайте поскорее, у нас раненые. Кроме того, надо посоветоваться. Есть одна большая приятность и одна большая неприятность. Словом, приезжайте!»

Большая приятность заключалась в том, что среди новоприбывших оказался георгиевский кавалер, большая неприятность — раненый герой, оказывается, еврей.

Среди госпитальных дам-покровительниц переполох: как себя вести? Случай, прямо скажем, из ряда вон!

Прибыла Марья Петровна.

«Это не чей-нибудь подвох?»

«Никак нет, натуральный георгиевский кавалер!»

«Ну, Бог милостив, как-нибудь обойдется. Нужно этого кавалера как-нибудь на видное место положить, чтобы сразу было видно, если кто посетит. Давайте в первую палату, возле дверей. Только распорядитесь, чтобы там лампочку привернули».

Из перевязочной ведут раненых. Георгиевский кавалер, маленький, с изможденным бритым лицом идет не сам, его тащит на плечах санитар: герою только что ампутировали ступню.

Койку его в палате обступили со всех сторон. Вопросы: откуда родом, как отличился на войне, как зовут?

«Иосель Шпинер».

Анна Павловна нервно:

«Покажите, ради бога, его листок!»

Читает вслух свистящим шепотом:

«Иосель Шпинер, вероисповедание иудейское... Господи, да что же это? — кричит. — Что за ерунда? Как вы смели сюда Шпинера положить? Кто распорядился?»

«Как кто? — главврач. — Да вы же сами».

«Я? Вы с ума сошли! Я сказала георгиевского кавалера, а вы...»

«Так он же и есть георгиевский кавалер».

Курьезный случай она преподнесла в форме сатирической фантасмагории о застарелой болезни русского общества, великодержавном шовинизме. О том, что, несмотря на патриотические призывы сплотиться всенародно во имя победы над врагом, не делись никуда ни черносотенцы, ни антисемиты, ни прочие «человекообразные».

Как многих в ту пору, ее занимала фигура Григория Распутина. Явившийся в столицу с котомкой за плечами малограмотный сибирский мужик сделался за короткий срок главным персонажем политической жизни России. Друг и наставник государя и императрицы, разгуливает, как у себя дома, в дворцовых покоях, имеет собственную канцелярию, фрейлину-секретаршу, по корявым его запискам назначаются и смещаются министры.

Увидела его как-то в поезде. Возвращалась из Москвы, стояла в коридоре у окна, в соседнем купе с открытой дверью чаевничала шумная компания.

— Распутин... — шепнул, проходя мимо, проводник.

Она прислушалась к разговору.

— Милай! Спроворь еще кипяточку-то! — говорил, утирая лоб и шею полотенцем, сидевший во главе стола рослый мужик в ситцевой рубахе навывпуск. — Кипяточку, говорю, спроворь. Заварил крепко, а кипяточку и нету. А ситечко где? Аннушка, ситечко куда засунула? Аннушка! Ситечко, говорю, где? От-то раззява!..

Истории с его похождениями, финансовыми махинациями, пьяными кутежами не сходили со страниц газет. Обсуждался его гипнотический дар, умение влиять на людей, особенно на женщин, многочисленные пророчества. О «горькой воде», «слезах солнца», «ядовитых дождях». О том, что пустыни будут наступать, а землю населят чудовища. Что два князя, один с Запада, другой с Востока, будут оспаривать право владеть миром, у них будет сражение в земле четырех демонов, и западный князь Граюг победит восточного Вьюга, но сам при этом падет, после чего люди вновь обратятся к Богу и войдут в земной рай. Чуть несусветная!

В разгар войны, на пике его сомнительной популярности, ей позвонил Розанов.

— Вам Измайлов сказал? Предлагал? Вы согласились?

— Простите, — она ничего не поняла. — О чем речь?

— Так, значит, он еще будет с вами говорить. Ничего не могу объяснить вам по телефону. Только очень прошу: непременно соглашайтесь. Если вы не пойдете, я тоже не пойду.

— Господи, да в чем дело? — закричала она в трубку.

Аппарат щелкнул, их разъединили.

Через два часа позвонил Измайлов.

— Предстоит одно очень интересное знакомство. К сожалению, лишен возможности сказать по телефону. Может быть, вы догадываетесь?

«Чертовщина какая-то!»

— ...Я сейчас к вам приеду...

Выяснилось наконец: руководство «Биржевых новостей» решило устроить встречу видных авторов с Распутиным, чтобы опубликовать затем серию репортажей и интервью с темным кардиналом, по возможности объективных, не предвзятых. Выбор после долгого обсуждения пал не нее, Измайлова и Розанова.

Днем, когда у нее побывал Измайлов, она обедала у знакомых в довольно большой компании. В столовой на каминном зеркале красовался рукописный плакат: «Здесь о Распутине не говорят». И говорили о нем на протяжении всего обеда. О взятках, которые шли через старца в карманы кого следует, о немецких подкупках, о шпионстве, о придворных интригах, нити которых были у него в руках.

Шел одиннадцатый час вечера, когда приятели подвезли ее по указанному адресу на Фонтанке. Была во всеоружии: пышная розовая блузка, дымчатые чулки, золотые туфельки, взбитая и уложенная Зиной копна волос с падающим тяжелым локоном, который следует небрежно отбрасывать со лба.

Прошла дворами, поднялась по боковой лестнице на второй этаж, позвонила — дверь открыл секретарь старца Арон Симанович.

— Прошу, ваши уже давно здесь.

В небольшой накуренной комнате сидело с десяток человек. Розанов со скучающим видом, напряженно уставившийся в пол Измайлов, полная старуха с ридикюлем на коленях, кучерявый господин, шепчущий что-то на ухо молодой разряженной даме с убитым выражением лица, музыканты в конце стола с гитарой, гармоникой и бубном.

Сидевший во главе стола Распутин в суконном черном кафтане и высоких лакированных сапогах говорил, точно жалуясь:

— Хочу к себе в Тобольск. Молиться хочу. У меня в деревеньке-то хорошо молиться, там Бог молитву слушает...

Пытливо кольнул взглядом сквозь масляные пряди волос в ее сторону — она, торопясь, поклонилась.

— У вас здесь один грех, — продолжил, — у вас молиться нельзя. Тяжело, когда нельзя молиться. Ох, тяжело...

Изменился со времени, когда она увидела его впервые в поезде. Расстолстел, лицо оплыло.

Измайлов представил ее, как было договорено, под фамилией Бучинская, сказал, что она художница, работала сестрой милосердия, он смотрел недоверчиво, насмешливо. Пошел в соседнюю комнату звонить, затворил плотно дверь.

Розанов отвел ее в сторону.

— Весь расчет на обед. Мы вас посадим рядом. Разговорите его. Затроньте это самое, ну, сами знаете...

«Подсадная утка, — подумалось. — До чего же все-таки противными могут быть мужчины».

Последовало приглашение к столу, слева от нее сели Розанов и Измайлов, справа Распутин.

Симанович разлил по стаканам вино, Распутин тут же выпил, вновь потянулся за бутылкой.

— Хороша мадерка. Ты чего же это не пьешь? — перегнулся к ней — Ты пей, Бог простит. Пей.

— Не люблю я вина, — отозвалась она, — оттого и не пью.

Он смотрел недоверчиво.

— Пустое. Ты пей. Я тебе говорю: Бог простит. Бог тебе многое простит. Пей!

— Я же вам сказала, — она теряла терпение, — что мне не хочется. Не стану я настолько пить!

— Эотику наводите... — шепнул на ухо Розанов.

— Да не мучьте вы меня, ради бога! — шепотом огрызнулась она. — Нашли себе Азефа-провокатора!

Два острых распутинских глаза держали ее на прицеле.

— Ишь, какая строптивая, — молвил. — Пить, видите ли, не желает...

Быстрым движением дотронулся до ее плеча, она легонько отстранилась.

— Ты вроде веселая, — произнес, — а глаза у тебя какие, знаешь? Глаза у тебя печальные, художница. Ты мне скажи: мучает он тебя очень? Ну, чего молчишь?.. Э-эх, все мы слезку любим, женскую-то слезку. Я все знаю...

Начиналась, кажется, эротика.

— Что же вы такое знаете? — спросила.

— Как человек человека от любви мучает, — в голосе его была грусть. — И как мучать, тоже знаю. А твоей муки не хочу...

Собиравшийся все время что-то сказать кучерявый господин вставил наконец слово:

— Цветы вам несут, Григорий Ефимович, — показал на стоявшие в вазах пышные букеты..

— Дуры бабы, — он засмеялся. — Возами шлют. Кажный божий день.

Помрачнел, заговорил без всякой логики:

— Дума-то. Всех им дел, что кости мне мыть. Государь огорчается. Ин да ладно! Разгоню скоро, на фронт ушлю. Будут знать, как языками молоть.

— Государственный орган все-таки, — возразил кучерявый. — Законопроекты издает.

— Да плевать мне, что она издает! За-аконопроекты, вишь! Разгоню, сам увидишь. Смутьян на смутьяне, речи дерзновенные произносят, маму с папой ни в грош не ста-

вят. Я как зверь загнанный, господу вельможи смерти моей ищут, я им поперек дороги встал. Одного не понимают: меня убьют, и России конец. Вместе с ней и похоронят... Мысли меня одолевают: домой вернуться, в Сибирь, пропади все пропадом! Государя с государыней жалко. Их-то губить за что? Люди они хорошие, Богу молятся. И драчку пора остановить. Немцы не басурмане. Господь что сказал? Верно: возлюби врага, яко брата. Потому-то и надобно с войной кончать...

Выпил, закусил пряником.

— Эй, музыку давай! — крикнул.

Звякнул бубен, зазвенела гитара, запела плясовую гармонию. Распутин вскочил, опрокинул стул, заскакал, заплясал не в такт, словно не по своей воле. Упал на стул, отдышался, поманил пальцем Симановича:

— Милай! Принеси-ка сюда мои стихи, что ты давеча на машинке отстучал.

Секретарь принес из соседней комнаты пачку листов, Распутин раздал по одному сидящим.

Она стала читать. «Прекрасны и высоки горы. Но любовь моя выше, потому что любовь есть Бог». Дальше шел непонятный набор слов.

— Как тебе? — спросил.

— Очень хорошо.

— Милай, дай чистый листок, — повернулся он к секретарю. — Я ей на память напишу... Имя напomini, художница.

— Надежда.

Долго мусолил карандаш, написал сбоку: «Надежде. Бог есть любовь. Ты люби. Бог простит. Григорий».

— Что за кольцо у тебя? — глянул на руку. — Камешек какой?

— Аметист.

— Дай-ка, — потянулся под столом. — Я на него дохну, погрею. Тебе от моей души легче станет.

Прикрыл рот салфеткой, подышал на кольцо, надел осторожно на палец.

— Когда придешь еще, я много тебе расскажу, чего ты не знала.

— Да ведь я не приду, — усмехнулась она.

— Не при-и-дешь? — он внимательно на нее посмотрел. — Нет, придешь...

Домой вернулась поздно, лежала без сна в постели.

«Ты ко мне придешь, — слышался в темноте голос не то зверя, не то птицы, не то степной разыгравшейся вьюги. — Придешь, милая-хорошая...»

Ничего так и не успела написать — уехала срочно по делам в Москву и там прочла в газетах: Распутин убит, тело его обнаружено подо льдом Невы, в числе подозреваемых Феликс Юсупов с любовником, великим князем Дмитрием Павловичем, и думский депутат Дмитрий Пуришкевич.

Неживой зверь

Зашла купить что-то в Гостиный двор, столкнулась с выходившими из лавки игрушек женщиной средних лет и хилым мальчишкой в матроске, прижимавшим с выражением счастья на лице ушастую обезьянку со стеклянными глазами. Прошли в двух шагах от нее.

— Мама, я буду кормить ее бананами, — услышала.

Кольнуло остро в груди. Следила мысленно, как они идут, держась за руки, по тротуару, садятся на подошедший трамвай, едут в сторону набережной, выходят через две остановки. Перешли мосток, идут по Сергиевской, исчезли в парадном кирпичного дома в три этажа с окнами на собор. Увидела прихожую, салон с роялем, опустевшую

детскую с любимым уголком за нянькиным сундуком, где тебя никто не видит, разбросанные по полу игрушки...

Шла задумавшись, повернула к лавке с вывеской «Теремокъ», зашла. Заваленные игрушками полки, колышутся под потолком воздушные змеи, гирлянда разноцветных шаров.

— Милости просим! — приказчик из-за прилавка. — Товар на любой вкус! Для мальчика, девочки?

Она водила взглядом по полкам.

— Бараны у вас есть?

«Чего это я?»

— Есть стеклянные, есть резиновые, — приказчик открыл дверцу прозрачного шкафа. — Извольте глянуть.

— Мне шерстяной баран. Такой, знаете... — повертела неопределенно пальцами.

— Шерстяных, к сожалению, в настоящее время не имеем. Соболаговолите оставить адрес, нынче же закажем, пришлем с посылным.

Она его уже не слышала, неслась с нарастающим волнением к дверям: родился рассказ. Родился!!!

Бежала не чуя ног по тротуару, твердила: «Неживой зверь, неживой зверь». Едва не сбила на трамвайной остановке дородного мужчину в тулупе, пахнувшем кислой шерстью.

«Живой, неживой?»

— Простите, пожалуйста, — выдохнула.

— Мэ-э, — в ответ.

«Живой!»

— Петя, меня нет дома, — бросила открывшему дверь секретарю.

Писала быстро, как всегда.

На елке было весело. Наехало много гостей, и больших, и маленьких. Был даже один мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это было так интересно, что Катя почти весь вечер не отходила от него, все ждала, что он что-нибудь особенное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но высеченный мальчик вел себя как обыкновенный: выпрашивал пряники, трубил в трубу, хлопал хлопучками, так что Кате пришлось разочароваться и отойти от него. Вечер уже подходил к концу, самых маленьких, громко ревуших ребят стали снаряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок, большого шерстяного барана. Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой и человеческими глазами, пах кислой шерсткой, и если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчиво: мэ-э!

Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже для очистки совести спросила у матери:

— Он ведь не живой?

Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила, она уже давно ничего Кате не отвечала, ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана молоком. Сунула его морду прямо в молочник, так что он намок до самых глаз. Подошла чужая барышня, покачала головой:

— Ай-ай, что ты делаешь! Разве можно неживого зверя живым молоком поить? Он от этого пропадет. Ему нужно пустышного молока давать. Вот так.

Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану и почмокала губами.

— Поняла?

— Поняла. А почему кошке настоящее?

— Так уж надо. Для каждого зверя свой обычай. Для живого живое, для неживого пустынное.

Зажил шерстяной баран в детской, в углу, за нянькиным сундуком. Катя его любила, и от любви этой делался он с каждым днем грязнее и хохлатее и все тише говорил ласковое «мэ-э». И оттого, что он стал грязный, мама не позволяла сажать его рядом с собой за обедом.

За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Никто даже не оборачивался, когда Катя после пирожного делала реверанс и говорила тоненьким голосом умной девочки:

— Мерси, папа! Мерси, мама!

Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой уже после супа и громко кричала еще из передней, что на катке было очень много народа. А когда она подошла к столу, папа взглянул на нее и вдруг треснул графин об пол.

— Что с вами? — крикнула мама.

— А то, что у вас кофточка на спине растегнута.

Он закричал еще что-то, но нянька схватила Катю со стула и потащила в детскую.

После этого много дней не видела Катя ни папы, ни мамы, и вся жизнь пошла какая-то ненастоящая. Приносили из кухни прислугин обед, приходила кухарка, шепталась с няней:

— А он ей... а она ему... Да ты, говорит... В-он! А она ему... а он ей...

Шептали, шуршали.

Стали приходиться на кухню какие-то бабы с лисьими мордами, моргали на Катю, спрашивали у няньки, шептали, шуршали:

— А он ей... В-он! А она ему...

Нянька часто уходила со двора. Тогда лисьи бабы забирались в детскую, шарили по углам и грозили Кате корявым пальцем.

А без баб было еще хуже. Страшно. В большие комнаты ходить было нельзя: пусто, гулко. Портьеры на дверях отдувались, часы на камине тикали строго. И везде было «это»:

— А он ей... А она ему...

В детской перед обедом углы делались темнее, точно шевелились. А в углу трещала огневица, печкина дочка, шелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала дрова. Подходить к ней нельзя было: она злющая, укусила раз Катю за палец. Больше не подманит.

Все было неспокойное, не такое, как прежде.

Жилось тихо только за сундуком, где поселился шерстяной баран, неживой зверь. Питался он карандашами, старой ленточкой, нянькиными очками — чем Бог пошлет, смотрел на Катю кротко и ласково, не перечил ей ни в чем и все понимал. Раз как-то расшалилась она, и он туда же: хоть морду отвернул, а видно, что смеется. А когда Катя завязала ему горло тряпкой, он хворал так жалостно, что она сама потихоньку поплакала.

Ночью бывало очень худо. По всему дому поднималась возня, пискотня. Катя просыпалась, звала няньку.

— Кыш! Спи! Крысы бегают, вот они тебе уже нос откусят!

Катя натягивала одеяло на голову, думала про шерстяного барана и, когда чувствовала его, родного, неживого, близкого, засыпала спокойно.

А раз утром смотрели они с бараном в окошко. Вдруг видят: бежит через двор мелкой трусцой бурый кто-то, облезлый, вроде кота, только хвост длинный.

— Няня, няня! Смотри, какой кот поганый!

Нянька подошла, вытянула шею.

— Крыса это, а не кот. Крыса. Ишь, здоровенная! Этакая любого кота загрызет! Крыса!

Она так противно выговаривала это слово, растягивая рот, и, как старая кошка, шерила зубы, что у Кати от отвращения и страха заныло под ложечкой.

А крыса, переваливаясь брюхом, деловито и хозяйственно притрусилась к соседнему амбару и, присев, подлезла под ставень подвала.

Пришла кухарка, рассказала, что крыс столько развелось, что скоро голову отъедят.

— В кладовке у баринова чемодана все углы отгрызли. Нахальные такие. Я вхожу, а она сидит и не крянется!

Вечером пришли лисьи бабы, принесли бутылку и вонючую рыбу. Закусили, угостили няньку и потом все чего-то смеялись.

— А ты все с бараном? — сказала Кате баба потолще. — Пора его на живодерню. Вон нога болтается, и шерсть облезла. Капут ему скоро, твоему барану.

— Ну, брось дразнить, — остановила нянька. — Чего к сироте приметьяешься.

— Я не дразню, я дело говорю. Мочало из него вылезет, и капут. Живое тело ест и пьет, потому и живет, а тряпку сколько ни сусли, все равно развалится. И вовсе она не сирота, а маменька ейная, может быть, мимо дома едет да в кулак смеется. Хю-хю-хю!

Бабы от смеха совсем распарились, а нянька, обмакнув в свою рюмку кусочек сахару, дала Кате пососать. У Кати от нянькиного сахару в горле зацарапало, в ушах зазвенело, и она дернула барана за голову.

— Он не простой, он слышит, мычит!

— Хю-хю! Эх ты, глупая! — захрюкала опять толстая баба. — Дверь дерни, и та заскрипит. Кабы настоящий был, сам бы пищал.

Бабы выпили еще и стали говорить шепотом старые слова:

— А он ей... В-он... А она ему...

А Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться. Неживуч баран. Погибнет. Мочало вылезет, и капут. Хотя бы как-нибудь немножко бы мог есть!

Она достала с подоконника сухарь, сунула барану под самую морду, а сама отвернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко. Подождала, обернулась — нет, сухарь нетронутый.

«А вот я сама надкушу, а то ему, может быть, начинать совестно».

Откусила кончик, опять к барану подсунула, отвернулась, подождала. И опять баран не притронулся к сухарю.

— Что? — крикнула отчаянно. — Не можешь? Не живой ты, не можешь!

А шерстяной баран, неживой зверь, отвечал всей своей мордой, кроткой и печальной:

— Не могу я! Не живой я зверь, не могу!

— Ну, позови меня сам! Скажи: мэ-э! Ну, мэ-э! Не можешь? Не можешь!

И от жалости и любви к бедному, неживому так сладко мучилась и тосковала душа. Уснула Катя на мокрой от слез подушке и сразу пошла гулять по зеленой дорожке, и баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам, сам кричал «мэ-э» и смеялся. Ух, какой был здоровый, всех переживет!

Утро было скучное, темное, беспокойное, и неожиданно объявился папа. Пришел весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел исподлобья, по-козлиному. Ткнул Кате руку для целования и велел няньке все прибрать, потому что придет учительница. Ушел.

На другой день звякнуло на парадной.

Нянька выбежала, вернулась, засуетилась.

— Пришла твоя учительница, морда как у собачищи, будет тебе ужо!

Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку. Она действительно похожа была на старого умного цепного пса, даже около глаз были у нее какие-то желтые подпалины, а голову поворачивала она быстро и прицеливалась при этом зубами, словно муху ловила.

Осмотрела детскую и сказала няньке:

— Вы нянька? Так, пожалуйста, все эти игрушки заберите и вон, куда-нибудь подальше, чтоб ребенок их не видел. Всех этих ослов, баранов вон! К игрушкам надо

приступать последовательно и рационально, иначе болезненность фантазии и протекающий отсюда вред. Катя, подойдите ко мне!

Она вынула из кармана мячик на резине и, щелкнув зубами, стала вертеть мячик и припевать: «Прыг, скок, туда, сюда, сверху, снизу, сбоку, прямо. Повторяйте за мной: прыг, скок... Ах, какой неразвитый ребенок!»

Катя молчала и жалко улыбалась, чтобы не заплакать. Нянька уносила игрушки, и баран мэкал в дверях.

— Обратите внимание на поверхность этого мяча. Что вы видите? Вы видите, что она двуцветна. Одна сторона голубая, другая белая. Укажите мне голубую. Старайтесь сосредоточиться.

Она ушла, протянув снова Кате руку.

— Завтра будем плести корзиночки.

Катя дрожала весь вечер и ничего не могла есть. Все думала про барана, но спросить про него боялась.

«Худо неживому! Ничего не может. Сказать не может, позвать не может. А она сказала: в-вон!»

От этого ужасного слова вся душа ныла и холодела.

Вечером пришли бабы, угощались, шептались:

— А он ее, а она его...

И снова:

— В-он! В-он!

Проснулась Катя на рассвете от ужасного, небывалого страха и тоски. Точно позвал ее кто-то. Села, прислушалась.

— Мэ-э! Мэ-э!

Так жалобно, настойчиво баран зовет! Неживой зверь кричит...

Она спрыгнула с постели вся холодная, кулаки крепко к груди прижала, слушает. Вот опять:

— Мэ-э! Мэ-э!

Откуда-то из коридора. Он, значит, там...

Открыла дверь.

— Мэ-э!

Из кладовки.

Толкнулась туда. Не заперто. Рассвет мутный, тусклый, но видно уже все. Какие-то ящики, узлы.

— Мэ-э! Мэ-э!

У самого окна пятна темные копошились, и баран тут. Вот прыгнуло темное, ухватило его за голову, тянет.

— Мэ-э! Мэ-э!

А вот еще две, рвут бока, трещит шкурка.

«Крысы! Крысы!» — вспомнила Катя нянькины ощеренные зубы. Задрожала вся. Крепче кулаки прижала. А он больше не кричал. Его больше уже не было. Бесшумно таскала жирная крыса серые клочья, мягкие куски, трепала мочалку.

Катя забилась в постель, закрылась с головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснется, ощерится по-кошачьи и насмеется с лисьими бабами над шерстяной смертью неживого зверя. Затихла вся, сжалась в комочек. Тихо будет жить, тихо, чтоб никто ничего не узнал.

— Как больно, Надя...

Аверченко сложил аккуратно листочки рукописи на столе.

— Наш удел. Не забываем мест, где зарыли когда-то кусочек души. Возвращаемся, кружим около, пробуем, как зверь, лапой поскрести немного сверху.

Помолчал.

— Слез прольется с Черное море.

— И слава богу, — она курила папиросу. — Пусть жалеют, плачут. Жалость — лучшее из чувств, сестра любви. Если больно, жалко, значит, не все потеряно.

— Чаем угостить?

— Пойду, — она встала. — Как глаз? Решился на операцию?

— Пока не знаю, думаю.

Пошла к дверям.

— Сказать, что я о тебе думаю? — вдогонку.

Она обернулась.

— Припаси для следующего раза, хорошо?

4.

Под откос

Убиенный Распутин, похоже, потянул за собой под невскую полыню предавшую его Россию. Столица охвачена беспорядками, остановились фабрики и заводы, солдаты отказываются стрелять в манифестантов, поворачивают оружие против полиции и вызванных для пресечения беспорядков казаков. Функции свергнутого правительства выполняет Временный комитет Государственной думы во главе с князем Львовым, обнародованы первые его указы и постановления: свобода слова, печати, собраний и стачек, отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, не существует больше черты оседлости.

События застали ее в Москве. Вызвана была срочной телеграммой из редакции «Русского слова», где печаталась последнее время. Прочла в гостиничном номере не укладывавшееся в голове сообщение военного корреспондента газеты:

В полночь на 3 марта ваш корреспондент, добравшись на дежурном паровозе из Вишеры на ст. Русса, имел возможность встретить царский поезд. Из беседы с окружавшими царя лицами выяснилось следующее. В три часа ночи поезд, шедший полным ходом с двумя большими американскими паровозами, прибыл на ст. Вишера, монарх возвращался по телеграмме царицы в Царское Село. Вокруг него не было никого. Были только дряхлый старик граф Фредерикс, комендант царского поезда адмирал Нилов и дворцовый комендант Воейков. Спутники царя много пили, все боялись, что он узнает правду о происходящем в столице. В час ночи возмущенный Цабель заявил Воейкову, что подобная ситуация недопустима и что если тот не пойдет и не доложит обо всем государю, он это сделает сам. Утомленный царь спал, его разбудили, сообщив: в Петрограде революционеры, студенты и хулиганы взбунтовали молодых солдат, и те, отправившись к Государственной думе, терроризировали депутатов. Родзянко под влиянием Чхеидзе и Керенского им уступил. Город захвачен чернью и взбунтовавшимися солдатами, однако достаточно четырех хороших рот, чтобы их разогнать. С беспорядками, заверил монарха Воейков, можно покончить в два-три дня. Только что получена телеграмма: из Могилева на станцию Дно движется поезд с 700 георгиевскими кавалерами, эти доблестные герои помогут государю беспрепятственно проследовать в Царское Село. «Там вы, ваше величество, станете во главе войск царкосельского гарнизона и двинетесь на Петроград. Взбунтовавшиеся войска вспомнят присягу и сумеют справиться с молодыми солдатами и революционерами». В этот момент в вагон зашел Цабель. «Вас обманывают, ваше величество! — вскричал. — У меня телеграмма новоявленного коменданта Николаевского вокзала столицы поручика Грекова. Он предписывает задержать ваш поезд на станции Вишера!» Государь вскочил с полки: «Что это? Бунт? Поручик Греков командует Петроградом?!» — «Ваше величество, — ответил Цабель, — в Петрограде

шестьдесят тысяч войск во главе с офицерами перешли на сторону Временного правительства, то же с московским гарнизоном». — «Но почему мне не сказали об этом раньше? — изумился он. — Почему говорят только сейчас, когда все кончено?.. Хорошо, — устало махнул рукой, — если народ потребует, я отрекусь и уеду с семьей в Ливадию, в свой сад. Я люблю цветы». Последний раз ваш корреспондент видел Николая Второго в четыре часа утра на вокзале станции Русса. Царь вышел на площадку вагона землисто-бледный, в солдатской шинели с защитными полковничьи-ми погонами. Папаха была сдвинута на затылок. Он несколько раз провел рукой по лбу и рассеянным взглядом обвел станционные постройки. Рядом, тяжело покачиваясь, стоял совершенно пьяный Нилов, что-то напевал. Постояв недолго, царь вошел обратно в вагон — поезд двинулся в сторону фронта...

Москва восстала вслед за столицей. В середине дня 28 февраля забастовали практически все московские заводы. Вопреки запрету властей возле городской думы собрался многотысячный митинг, прозвучали призывы к свержению ненавистных угнетателей народа. Утром 1 марта начались столкновения рабочих с полицией в районе Яузского и Каменного мостов, погиб рабочий Илларион Астахов. Застреливший его помощник пристава был сброшен рабочими в реку, толпа смяла полицейский кордон. Напряженные нарастало, начался массовый переход войск на сторону революции. Революционные солдаты собрались на Воскресенской площади около городской думы, 1-я запасная артиллерийская бригада привезла с собой шестнадцать орудий. В тот же день генерал Мрозовский сообщил в ставку генералу Алексееву о том, что «в Москве полная революция, воинские части переходят на сторону революционеров». Началась охота за одиночными городскими. Толпы народа взломали ворота Бутырской тюрьмы, ворвались в здания, освободили триста пятьдесят политзаключенных, попутно семьсот уголовников. К утру 2 марта в руках восставших были почта, телеграф, телефон, все московские вокзалы, военные арсеналы, Кремль. Шли массовые аресты городских и жандармов, полицейских провокаторов, платных киллеров — все отправлялись без суда и следствия в освободившиеся камеры Бутырки. Формировалась рабочая милиция, телеграммой князя Львова из Петрограда комиссаром Временного правительства по Москве был назначен земгоровец, бывший городской голова Михаил Челноков. И во все невообразимое: в своем вагоне в Ставке император Николай Второй отрекся от престола, передал власть младшему брату Михаилу, тот принять венец отказался. Бывший монарх под арестом, выезд ему за пределы Царского Села запрещен...

Удивительное время! Стихийные митинги на площадях, всюду флаги и транспаранты, между снежных сугробов проносятся переполненные грузовики с военными, раскрасневшиеся от мороза гимназистки цепляют на кокарды солдат красные ленточки, незнакомые люди останавливают на тротуаре, обнимают:

- С праздником вас, свободная гражданка!
- Спасибо, и вас!

Напротив дома генерал-губернатора потный от воодушевления молодой мужчина без головного убора кричал, взобравшись на памятник Скобелеву, истошным голосом:

— Теперь война не та! Теперь она наша! И я требую клятвы в верности! Требую от всех и сам ее даю! Даю и говорю: шелковым бельем венских кокоток вытереть кровь на наших саблях! Урра! Урра! Урра!

Вгляделась пристальней: кажется. Маяковский.

Точно, он. Машет в ее сторону рукой.

Общаться желания не было, махнула в ответ, прибавила шаг.

Редакция была в двух кварталах от ее квартиры в Гнездииковском переулке, на работу она ходила пешком. На улицах не протолкнешься, всюду митингуют, много солдат с винтовками.

Редактируемая Власием Дорошевичем самая дешевая среди еженедельных изданий газета заняла по отношению к новым властям конструктивную позицию. Способствовать разумному, идущему на пользу обновления общества, бичевать за митинговость, пустословие, уход от неотложных дел.

Она не гнушалась редакционной поденщиной. Надо привлечь внимание к объявленному «Заему свободы» для финансирования войны, нет вопросов! — сочинила в два счета стихотворную агитку:

Нужно быть отменным идиотом,
 Чтобы упустить такой момент:
 Вдруг прослыть великим патриотом
 И вдобавок получить процент!
 Вот поэтому мы просим и зовем,
 Подпишитесь поскорее на заем.
 Покупайте столько облигаций,
 Сколько можно снести пешком домой,
 Знайте: вы спасаете Россию!
 Вам за то воздвигнут монумент,
 И повинность исполняя сию,
 Вы еще получите процент!
 И для этого мы просим и зовем:
 Подпишитесь поскорее на заем!

Иное дело, когда речь идет о стремительном росте цен, инфляции, обесценивании злополучных «керенок». Когда с магазинных прилавков исчезли сахар, белая мука, масло.

— Надежда Александровна, есть что-нибудь подходящее?

В редакторском кабинете накурено, шумно. Приехал издатель, проводит совещание.

— Не знаю, Иван Дмитриевич. Может, о радостях нового года?

— Ага, интересно, расскажите.

Сытин прищурился, ждет.

— Пью, допустим, кофе без сахара, кухарка заглянула, жалуется: не достала ни муки, ни крупы, ни говядины, ни рису, ни макарон.

— Та-ак...

— Проглядываю свежие новости, читаю с интересом: новый министр юстиции посетил старого министра внутренних дел, нового же министра путей сообщения посетил новый министр народного просвещения, а старого министра внутренних дел посетил новый министр иностранных дел...

— А рису и макарон как не было, так и нет! — хохочет Сытин.

— Именно. И кофе подают без сахара. А нового министра народного просвещения посещает в это время новый министр юстиции, нового министра иностранных дел новый министр путей сообщения, а бывшего председателя совета министров...

— Бывшая любовница, — чей-то голос.

— Партнер по висту...

— Прекрасно, в самую точку, — отсмеялся Сытин. — В номер успеете?

— Да у нее уже все написано в голове, — отзывается Дорошевич. — Вы что, Тэффи не знаете? Посадим сейчас с пишбарышной, отлучат в два счета.

— Ну, с богом, — поднялся из-за стола Сытин. — Всем спасибо, господа!

Фельетон за фельетоном, в каждом номере. За имевшим шумный успех «Новым годом» следует «Контрреволюционная буква», «Заведующие паникой», «Дыбокрылатый», «Дезертиры», «Немножко о Ленине».

К Ленину и большевикам у нее особый счет еще со времен работы в «Новой жизни». Вечно теряются, лишены политической интуиции, никогда не ожидают того, что случится, примазываются к любому делу «постфактум», хвостисты, короче. Убрались снова в свои женева, пикируются с меньшевиками, пишут сочинения по Марксу—Энгельсу, а в России настоящая революция, гудит набатом, грохочет ружьями. По принципам хвостизма выписали немедленно Ленина — прибыл голубчик в немецком пломбированном вагоне, поднял по привычке воротник, спрятал нос, пришел на собрание. «Сейчас скажет, — шептались сторонники, — он сейчас такое скажет!» Сказал. Про то, что Энгельс сказал. На улицах современного города невозможно вооруженное выступление. Да ведь произошло уже, черт тебя подери! Случилось. Вооруженное. Выступление. «Невозможно ни в коем случае! Энгельс сказал».

Предприняли тем не менее в июле, воспользовавшись неудачами на фронте и правительственным кризисом (подал в отставку премьер-министр Львов, кабинет покинули несколько министров-кадетов), захватить завоеванную ценой чужой крови власть. Нагнали народу, растерялись, завязли в толпе, с треском провалились.

Ленин бросил опять коротко что-то про Энгельса, поднял воротник и — тью-тью! Испарился.

Как же она все-таки заблуждалась на их счет!

В середине октября вернулась в Петроград: надо было подписать несколько банковских документов, выходил новый сборник прозы, в Литейном театре готовились к постановке ее мини-пьесы «Наполеон» и «Шарманка Сатаны».

Город был неузнаваем. На улицах, в скверах — бегущие с фронта дезертиры, беженцы, вышедшие на свободу под видом политзаключенных уголовники с жуткими физиономиями. У закрытых дверей хлебных лавок, мучных лабазов длинные хвосты очередей: перевязанные крест-накрест платками женщины, мастеровые, инвалиды на костылях. Тротуары заплеваны семечковой шелухой, все поголовно грызут семечки. Неистово, торопясь, не прерывая разговоров, плюясь друг в друга.

Зашел Аркадий, помятый, хмурый, без цветка в петлице. Выпил вина.

— Мечтали о свободе, заре освобождения, — говорил невесело. — А на поверку разбудили спящего зверя, получили пугачевщину. Советы, комитеты. А поезда ни черта не ходят, табаку не купишь. Моя бы воля, разогнал к чертовой матери и думских пустомелей, и временщиков-министров, ввел в стране диктатуру. Дождемся: не сегодня-завтра этот картавый адвокат Ульянов-Ленин покончит с двоевластием. У него в отличие от Керенского мышление Робеспьера. По трупам пойдет.

— Не верится что-то. Ленин?

— А вот увидишь.

Как в воду глядел. Ночью она плохо спала, просыпалась несколько раз от звуков выстрелов за окном.

— Страсть что делается, барыня, — рассказывала вернувшаяся с пустыми руками с рынка кухарка, — людей убивают!

Из срочных газетных сообщений можно было понять: руководимые большевиками вооруженные солдаты захватили Зимний дворец, объявили о передаче полноты власти в руки Всероссийского съезда Советов. Министры Временного правительства арестованы, премьер Керенский скрылся.

Приехали! Что ни день, новый декрет. Незамедлительное заключение всеми воюющими сторонами справедливого демократического мира (черта с два кто на такое пойдет). Декрет о земле (сказали бы прямо: легализация самозахвата крестьянами помещичьей земли). Временные революционные комитеты в армии (митингуй, братва, пока по нам стреляют!). Рабочий контроль над производством, куплей, продажей продуктов,

их хранением, финансовой стороной предприятий (соли и спичек отныне точно не будет). Триумфальное шествие безграмотных дураков. Признана контрреволюционной и изъята из обращения буква «ять». Вышел указ о реквизиции для солдат на фронте теплых вещей, с каждой квартиры по одному одеялу и по одной вещи на выбор. Если пожертвование окажется не первой свежести или недоброкачественным, жертвователя оштрафуют на пятьсот рублей. А на заборах рядом с указом о реквизиции одеял висит приказ войскам столичного гарнизона: война окончена, солдатам следует сдать на склады амуницию. Одеяла в таком случае для чего реквизируют, объясните?

Собралась в один из дней в Пассаж. На Невском и прилегающих улицах с утра пораньше народ. Дамы приличного вида, студенты, курсистки, офицеры, мастеровые. Торгуют с рук поношенной одеждой, галошами, книгами, консервами. Ступала осторожно по раскисшему снегу между рядов, вглядывалась в лица: усталые, потерянные, с погасшим взглядом.

— Купите курицу, госпожа, у меня товар свежий! — подскочил закутанный по-бабьи в платок низкорослый мужичонка.

— На туфли хотите поменять? — оттеснила ее от продавца дама в беличьей шубе.

— На туфли? А ну покажь!

Записывала вечером в тетрадь:

«Купите курицу, у меня товар свежий. Ночью зарежу, а днем продаю... Купите сапоги, господин! У меня товар тоже свежий. Я тоже — га-га-га! — ночью зарежу, а днем продаю. Горничная предупреждала: по ночам лучше не выходить, ограбят, проломают голову... Почему эта осьмушка называется ржаной, непонятно. Может, оттого, что ни одна лошадь при взгляде на этот хлеб не удержалась бы от веселого ржания: так много в нем овсяной соломы... Я распродаю теперь свою коллекцию персидских ковров. Питаюсь, как моль, коврами...»

Со слов подруги-актрисы Катеньки Рошиной-Инсаровой:

«Возвращаюсь вчера из театра. Темно, глухо, фонари не горят. У костра трое солдат и два матроса. Ну, думаю, пропала моя головушка. А они такие милые, представь. Только один матрос крикнул: „Эй ты, буржуйка нерезаная? Чего к стенке лепишься? Проходи, сегодня не тронем!“. И хохочут вслед».

Дышал на ладан «Новый Сатирикон». Последней ее вещью в журнале стало стихотворение «Добрый красноармеец», сопровождаемое эпиграфом: «Один из народных комиссаров, отзываясь о доблести красногвардейцев, рассказал случай, когда красногвардеец встретил в лесу старушку и не обидел ее. Из газет».

Вечер был, сверкали звезды,
 На дворе мороз трещал,
 Тихо лесом шла старушка,
 Пробираясь на вокзал.
 Мимо шел красногвардеец:
 «Что ты бродишь, женский пол?»,
 Но вгляделся и не тронул,
 Только плюнул и пошел.
 А старушка в умиленьи
 Поплелась на вокзал...
 Эта сказку папа-Ленин
 Добрым деткам рассказал.

В февральские дни высмеивала паникеров, собиравшихся бежать из революционной России, не жалела эпитетов, называла дезертирами и трусами, а теперь у самой не выходит из головы: куда бы, черт возьми, податься из этого бедлама? Укатали — во-о!

На Петрограде можно поставить крест: «Новый Сатирикон» перестал существовать, закрылось большинство газет и журналов, издательства печатают большевистские агитки.

В Москву, разве, вернуться? Аверченко уже там, Ленин со товарищи тоже, в гости можно пойти в Кремль: «Здравствуйте, товарищ предсовнаркома! Напомните, пожалуйста: хронику в газеты должны давать сами рабочие?» В Москву, в Москву! — как говаривали сестры из чеховской пьесы. Едем в Москву...

Не задержалась долго в Белокаменной. «Русское слово» большевики закрыли, Дорошевич сидел на чемоданах, Сытина арестовали. В один из дней пожаловал в гостиницу развязный антрепренер по фамилии Гуськин, принялся убеждать ехать с ним в Киев и Одессу на литературные выступления.

— Сегодня ели булку? — поинтересовался. — Ну, так завтра уже не будете. Все рвутся на Украину, но мало кто может. А вас повезут, будут платить шестьдесят процентов от валового сбора, я заказываю вам лучший номер в шикарном отеле на берегу моря. Солнце светит, вы читаете рассказ-другой, срываете аплодисменты, берете деньги, покупаете масло, ветчину, вы себе сыты и довольны.

— Ветчину и масло?

Она сглотнула слюну.

— Масло и ветчину.

Конец сомнениям положил Аверченко. Также, оказывается, собирався ехать на выступления в Киев с двумя актрисами, которые должны были разыгрывать скетчи — устроил ему поездку тоже какой-то гуськин.

— И думать не надо, — убеждал. — Тут скоро заварушка начнется почище Варфоломеевской ночи. У большевиков свара с эсерами, у которых они уворовали в октябре власть, те с ними миндальничать не будут, крови прольется не приведи господь. Вместе поедем, компанией. Собирайся...

Бегали с Гуськиным по учреждениям с труднопроизносимыми названиями, вели в обстановке строгой секретности переговоры с его знакомым из комиссариата по культуре, высидивали часы у дверей кабинетов — получили наконец за подписью Луначарского вожделенное разрешение на выезд за пределы Ресепесеерии...

Путешествие, подобное восхождению на Голгофу. Полтора месяца в дороге, забитые под крышу эшелоны. Беженцы, мешочники, солдаты, пьяная матросня, ругань, детский плач. Стелется под потолком вагона махорочный дым, где-то поют под гармошку, на верхней полке режутся в карты, жутко матерятся, дамы-попутчицы рассказывают Аверченко про знакомую, умудрившуюся провести под носом у пограничников деньги и бриллианты.

— Подозреваю, в каком месте, — отзывается он.

— Что вы, помилуйте! — дамы в ужасе машут руками.

— Ну, в другом, какая разница...

Меняли поезда, просиживали часами на пронизываемых ледяным ветром платформах, ели из мешка вареную склизкую свеклу с сухарями. Спали сидя, уронив головы на плечи друг друга, выстаивали по утрам очереди в залитую мочой уборную, бегали на остановках за кипятком.

На каждой станции проверка документов и вещей. «Что везете?» «Где купили?» «Не положено». «Реквизируем». Простаивали по нескольку суток на запасных путях и в тупиках из-за отсутствия угля, пропускали воинские эшелоны, ждали смены паровозов. Несколько раз поезд неожиданно начинал идти в обратном направлении — в вагонах паника, бежали искать прятавшегося от пассажиров, вконец очумевшего начальника поезда, тот объяснял: впереди разобраны рельсы (взорван мост, не работает водокачка, обстреливает местность неведомый бронепоезд). «Пойдем кружным путем, граждане, другого выхода нет».

Что происходит вокруг, понять невозможно. На чьей стороне остановившая в чистом поле эшелон, опустошающая кошельки, лезущая под юбки женщин в поисках спрятанных в интимном месте сокровищ новая банда? Кто они, белые, красные, зеленые? Гайдамаки, анархисты, дикого вида партизаны? Немцы с винтовками и в касках. «Steig aus! Dokumente!» («Выходи наружу! Документы!») Чуть зазевался, кулак в челюсть, и весь разговор.

И смех и грех. На одной из пересадочных станций стояли на перроне Аверченко, Гуськин и одна из актрис с собачкой на руках, все рослые, видные. Подбегает запыхавшийся субъект в котелке на затылке и распахнутом пальто, глаза блуждают.

— Извините мне вопрос: ви не приезжие лилипуты?

— Нет, — скромно отвечает Аверченко...

Господи, Киев наконец! Забитый народом вокзал пропах борщом. Новоприбывшие пассажиры кидаются с вагонных ступенек прямехонько в буфет. Хлебают, расставив локти («не тронь, мое!»), у накрытого стола горячее варено.

— Подзакусим, девушки? — шагает к прилавку Аверченко. — Занимай места!

Счастье, господа, не отвлеченное понятие. Счастье, когда измученный вареной свеклой желудок с радостным урчанием принимает дарованный небесами подарок — объятый ароматным паром, обжигающий украинский борщ с жирной свининой и чесноком, напоминающий о вечерах на хуторе близ Диканьки, когда с каждой проглоченной ложкой вы чувствуете, как за плечами у вас вырастают крылья, и, помня, что редкая птица долетит до середины Днепра, готовы поспорить с Гоголем: перелететь Днепр, вернуться назад к прилавку и есть, есть заправленное сметанкой дивное творение до состояния блаженства, nirваны, любви и единения с волшебным божьим миром.

— Я, пожалуй, еще съем, — голос Аверченко.

Она растегнула верхнюю пуговицу шубки: сыта, умиротворенна, согрелась. Морозец щиплет щеки, галки перелетают с ветки на ветку в пристанционном скверике, трамвай вывернул из-за угла. Ванну принять и в постель с крахмальными простынями. Спать долго-долго.

— Спать хочу, Гуськин!

— Да, да, сейчас едем. Позвольте ваш баульчик, сударыня...

Третий звонок

На Крещатике толпа народу: актеры, художники, земцы, адвокаты, чиновники, музыканты, газетная братия, жены, любовницы. Столкнулась с общественным деятелем, который убеждал ее недавно не уезжать, говорил, что надо упорно работать, а если потребуется, умереть на своем посту.

— Как же ваш наказ? — поинтересовалась.

Смешался.

— Не знаю. Подправляюсь немного, а там посмотрим.

Знакомый журналист посреди тротуара.

— Наконец-то! Мы вас ожидали еще на прошлой неделе.

— Кто «мы»?

— Киев.

Подсаживались на скамейку знакомые, делились новостями. В городе «Летучая мышь» с Собиновым, открывается театр миниатюр и кабаре с Курихиным, вот-вот выйдет поддерживаемая гетманом новая газета под редакторством Горелова.

— Все надеются на ваше участие.

- Я здесь проездом, — отвечает, — меня везут в Одессу для литературных вечеров.
- В Одессу? Сейчас? Никакого смысла! Там полная неразбериха. Стоит выждать, пока там все наладится. Нет, мы вас сейчас не отпустим!
- Кто мы?
- Киев.

От гостиницы пришлось отказаться: дорого и шумно. Младшая из актрис, Оленька, устроила ее на постой к своим знакомым на Подоле. Чистая комнатка, палисадничек за окном, до редакции «Киевской мысли», где она начала работать, несколько остановок трамваем. Работа непыльная: приходила, когда вздумается, надиктовывала наспех пишбарышне что-нибудь из тетради. Seriously трудиться не хотелось, не было настроения: проглотят и так, не баре. Снова она нарасхват, со всех сторон слышится: «Тэффи! Тэффи! Тэффи!» Написала по просьбе директора «Летучей мыши» Никиты Балуева пьесу «Необыкновенные приключения театрального директора», описала в шутильной форме случавшиеся с ним курьезные истории (в главной роли выступил сам Балуев). Провела после премьеры благотворительный вечер в пользу лежащих в госпиталях военнопленных, собрала три тысячи восемьсот сорок рублей. Месяц спустя новая вещь для сцены. Покинувший с группой актеров театр «Би-Ба-Бо» Николай Агнивцев создал собственный «Театр Кривого Джимми», к открытию она написала одноактную пьесу «Тише едешь — дальше будешь» и в придачу добавила старую, в рифму: «Не подмажешь — не поедешь». Выступила в первый день тысяча девятьсот девятнадцатого года на «Вечере бодрящей, волевой музыки, лирики и юмора» с чтением юморесок в Купеческом собрании.

Несколько раз виделась с Дорошевичем. Постарел: худой, длинный. Госковал по оставшейся в Петрограде жене, хорошенькой легкомысленной актрисе, которая в его отсутствие открыто жила с большевистским комиссаром, от него это тщательно скрывали.

— Мы договорились, Леля должна приехать, — говорил, меряя вдоль и поперек шагами просторный кабинет. — Дней через десять...

Бедный Власий Михайлович! Умница, эрудит, энциклопедист. А женщин не знал. Молодых красивых женщин нельзя надолго оставлять одних. И ненадолго нельзя.

Газетная братия собиралась по вечерам в гостеприимном доме Миши Мильруда. Соратник по «Русскому слову», талантливый очеркист, прославившийся своими статьями по делу Бейлиса. Попал после октябрьского переворота на допрос в отдел ВЧК по борьбе с контрреволюцией, был приговорен к расстрелу, чудом каким-то приговор отменили в последнюю минуту. Сотрудничал вместе с ней в «Киевской мысли», сердобольная его очаровательная жена, чуждавшаяся политики, варила дома щи и кашу и относилась вместе с прислугой в бараки, где размещались привезенные из немецкого плена русские солдаты.

— Отъедятся и к большевикам побегут, — говорили за столом. — Которые вас чуть было к стенке не поставили.

— Как не понять! — всплескивала она руками. — Голодные же люди, из ада вышли. Пусть бегут, куда хотят.

Власть в Киеве висела на волоске. В ночь на 18 ноября выступившие из Белой Церкви отряды сторонников бывших деятелей Центральной Рады во главе с известным писателем Владимиром Винниченко свергли поддерживаемого немцами гетмана Скоропадского, провозгласили Директорию Украинской Народной Республики.

В воздухе висела тревога, ждали чего угодно. В ответе на газетную анкету она написала: «Здесь я чувствую себя сытой физически, голодной морально».

Простудилась: испанка, воспаление легких — известие о болезни немедленно попало в газеты. Лежала под одеялом, глотала микстуры. С утра до ночи комната наби-

та народом. Приносили цветы, конфеты, которые сами же и съедали, болтали, курили, делились театральными и политическими сплетнями, любящие пары назначали друг другу рандеву на одном из подоконников.

Присел рядом незнакомый мужчина с рыжеватыми усиками, отрекомендовался:

— Александр Авдеевич Оцуп. Вы меня, вероятно, не помните. Печатался с вами под псевдонимом Сергей Горный в «Сатириконе», видел вас часто обедающей в «Вене»...

Попросил разрешения почитать стихи. Она слушала, подремывая, кто-то брэнчал на рояле. Очнулась в липком поту: комната пуста, дежурящая медсестра цедит за столом в мензурку какую-то гадость.

Вышла, поправившись, первый раз на крыльцо, закутанная в платок. Киев был ледяным. Голый лед и ветер, по улицам с трудом передвигаются пешеходы, падают, поскользнувшись, помогают друг дружке подняться...

Витавшие всю зиму слухи подтвердились: в город накануне Рождества вошли банды атамана Петлюры. На Крещатике состоялся военный парад. Молодцы в новеньких жупанах немецкого сукна скакали перед насупленной трибуной, с которой приветствовали толпу бывший семинарский учитель и публицист «батько» Симон Васильевич Петлюра и вновь возглавивший правительство Владимир Кириллович Винниченко, о чьем романе «Заветы отцов» бывший адвокат Ульянов-Ленин отозвался в свое время: «Архискверное подражание архискверному Достоевскому».

Начались аресты и обыски, «Киевскую мысль», в которой работал когда-то Петлюра, закрыли.

Ночью долго не ложились спать, сидели обычно на квартире у Мильрудов. Чтобы не заснуть, играли в карты, прислушивались: не стучат ли сапоги на лестнице. Стук в дверь или звонок — карты и деньги под стол.

В один из дней где-то на окраине, за Лысой горой, забухали пушки — к Киеву подступали то ли белые батальоны Деникина, то ли поляки, то ли снова немцы, то ли черт их разберет.

Укладываем чемоданы, господа! — в Одессу, в Одессу!

— Ну, что Одесса? Как вы тут?

Встретившие на вокзале Алеша с Натальей везут ее трамваем переночевать куда-то на окраину, где снимают комнату.

— Жить можно, хотя противно, — Толстой соскребает пальцем наледь на окне. — Гляньте, Надя! Туда, правее! Видите?

Она прижимается лбом к ледяному стеклу. Что за дьявольщина! На месте, где стоял обращенный к морю памятник герцогу Ришелье, — задрапированная в холстину фигура, запорошенная снегом.

— Нравится? Это, дорогая моя, если хотите, символ нынешней Одессы: все в тумане, все понарошку. Сегодня дюк, завтра чучело в балахоне. Фарс умалишенных.

— Не слушайте его, дорогая, он в своем репертуаре, — улыбчивая Наталья держит ее руку теплой варежкой. — Устроитесь, обживетесь. Потеплеет, пикник на море устроим. От нашего дома до пляжа десять минут ходьбы...

В комнате с низким потолком и чуть теплой печкой-«буржуйкой» ее посвящают за завтраком (перловая каша, гренки, стакан молока) в текущие события. Власть в городе — фикция. Был большевистский Румчерод (Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы), объявивший город республикой. Не успели опомниться, в город вступили поддерживавшие гетманскую власть в Киеве австро-германские войска. Разогнали к чертям собачьим Румчерод, тут — бах: революция в Германии! Немцы уходят, в Одессе хозяйничают петлюров-

цы: шестьсот штыков из гетманцев, бывших червонных гайдамаков и белых офицеров-добровольцев. Дальше троевластие: Директория Петлюры, польская стрелковая бригада, Добровольческая армия. Продержались ровно неделю, в порту высадились две французские и две греческие дивизии войск Антанты: новая интервенция.

— Понять, кто в городе хозяин, к кому обратиться, с кем вести дела, невозможно, посылают по матушке, — закуривает трубку Толстой. — Я же говорю, фарс умалишенных.

— Леша, пожалуйста, на крыльцо, — мягкий голос Натальи, — в комнате и без того угар!

Она выбралась на другой день в город. На улицах толчея, неразбериха. Зашла в «Лондонскую» гостиницу, справилась о номере: нечего и думать, свободных мест нет и в ближайшее время не будет. В «Международной» тот же ответ.

Походила по магазинам — цены немыслимые, продуктами торгуют из-под прилавка, платят не глядя, бери, что дают, завтра и этого не будет. По набережной бесцельно бродят беженцы всех рангов и сословий, военные, штатские, чиновники, английские моряки, французские зуавы. Торгуют барахлишком, пьют пиво в «Гамбринусе».

Прошла по набережной. Потеплело, выкатило из-за туч солнышко. Ближе к Воронцовскому дворцу, у перегородившего бульвар деревянного забора — сдерживаемая охраной толпа, на освещенном юпитерами огороженном участке помост с людьми в живописных одеждах. Протиснулась поближе, узнала Ермольева с рупором в руках, которому написала когда-то несколько сценариев, стоявших возле камеры, о чем-то беседовавших Веру Холодную и Владимира Максимова.

— «Княжну Тарakanову» доснимают, — объяснил стоявший рядом мужчина в бекеше. Всмотрелся пристально. — Простите, вы, случайно, не Тэффи?

— Я, простите, случайно, не Тэффи, — стала она выбираться из толпы.

Читала вечером «Одесский листок» — сплошь чернуха. Отчаяние в низах, оставшиеся без работы люди идут на рынок и просто сносят торговцев вместе с прилавками. Разгул бандитизма, налеты, ограбления. Появляться после пяти вечера на улице опасно, ездить после девяти тем более: останавливают извозчиков, раздевают догола седоков, выпрягают лошадей, уводят в катакомбы. Решившие развлечься в недорогих клубах, синематеках и подвальных театриках горожане собираются группами, нанимают охрану — человек пять студентов, вооруженных чем попало. Кольца и серьги прячут за щеку, часы в башмак. Помогает мало, у уличных хлопцев хороший слух: где тикает, туда и лезут. Городской генерал-губернатор Гришин-Алмазов едет в сопровождении адъютанта в машине — его обстреливают на Приморском бульваре из-за установленного за деревом пулемета. «Я положу этому конец, — обещает в интервью генерал. — И если мне понадобится для этого сжечь половину Одессы, собственноручно вешать беременных баб и расстреливать в упор грудных младенцев, будьте уверены, я не остановлюсь и перед этим».

Фарс умалишенных!..

Толстые нашли ей по соседству на Подоле комнату в доме железнодорожного служащего. Жуткая холодрыга, в разбитое окно ванной комнаты, где стоит умывальник для всей семьи, снег сыплет прямо на голову, хозяин ходит мыться в пальто с поднятым воротником, хозяйка в кофте и душегрейке. Она чихала, согревалась гимнастикой и горячим чаем с сахарином.

Сюрприз — как в кино. Писала что-то, закутавшись в котиковую шубку, — грохот, дверь нараспашку.

— Где тут наша сочинительница?

Обстрелянный из пулемета генерал-губернатор Гришин-Алмазов собственной персоной. Давний читатель и почитатель, счастлив лицезреть. Почему в такой дыре? Финансовые затруднения? Поможем, талант не должен терпеть неудобств.

- Поручик!— адъютанту. — Помогите даме собрать вещи.
- На расстрел повезете?— поинтересовалась.
- В «Лондонскую» гостиницу.
- Там же нет мест, я справлялась.
- Не берите в голову, номер на ваше имя заказан.

Так именно и было: и «Лондонская» на Графской набережной, и роскошный номер на третьем этаже на ее имя с видом на закутанного в балахон дюка.

Жизнь полна чудес, чистим перышки...

Заработанные деньги таяли, как вода. Поменяла, не разобравшись, по приезду различные на печатавшиеся в липовой республике одесские боны, падавшие в номинале едва ли не каждый час. Берешь в банке на тысячу бон жуткого вида зеленовато-желтых «билетиков», к вечеру у тебя в наличии пятьсот. В магазинах сдачу выдают собственными знаками, в которых путаются сами продавцы.

Анекдот на анекдоте. Звонит одесская артистка оперетты, просит сочинить пару песен в репертуар.

- У меня дома рояль, принесете текст, набросаем мелодию.
 - Договорились. Приду, если не возражаете, завтра часов в пять.
- Вздых в телефонной трубке.
- Давайте лучше в шесть. В пять мы всегда пьем чай.

Не удержалась, съязвила:

- Вы уверены, что к шести закончите? Может, тогда лучше в семь?

Устраивались мало-помалу дела. На книжных прилавках свежий сборник прозы (небольшой гонорар). Открылась редакция возрожденного «Русского слова», она вошла в состав редколлегии, напечатала несколько вещей, группа писателей и артистов нашла мецената, открывает на Дерибасовской подвальчик наподобие «Бродячей собаки», будет где развлечься, встретиться со своими. Радостное известие из Севастополя от Аверченко: в открывшемся кабаре «Гнездо перелетных птиц», где он занял должность художественного руководителя, выступает приехавшая из Польши младшая дочка.

«Девочка талантливая, вся в тебя, отлично поет и танцует», — сообщил в письме.

Отлегло от души. Год назад собрала всю наличность, какая у нее была, передала с оказией в Варшаву, где временно обосновались Валерия и Лена, — деньги пропали.

«Спасибо за Леночку, милый друг, — ответила, — рада, что у тебя все хорошо. Вышлю днями со знакомой актрисой, едущей в Севастополь, триста франков. Проследи, пожалуйста, чтобы попали по адресу».

Проснулся интерес к жизни. Обновила гардероб, нашла по объявлению ходившую на дом приличную парикмахершу. В начале весны в городе появился одержимый стихонеистовством Макс Волошин. Ходил по знакомым и незнакомым в окружении поклонниц, всюду читал стихи. Заглянул к ней в гостиницу: борода, пышные кудри, плащ-разлетайка, короткие штаны, гетры. Сел в кресло, шумно высморкался.

- Вот послушайте. Недавно написал.

Прочел две поэмы, сжевал несколько пончиков.

— Я к вам, собственно, вот за чем, — выбирал аккуратно из бороды крошки. — В Феодосии арестовали по чьему-то доносу Лизу Кузьмину-Караваеву, вы ее, кажется, знали по Петербургу. Какие-то прошлые грехи.

- Да, помню. Вместе ходили на «пятницы» к Случевскому.

— Похлопочите за нее у вашего покровителя Гришина-Алмазова.

«„Покровитель“, ну и ну! Каждая собака знает».

- Время не ждет, могут расстрелять, у них это просто.

Стала звонить «покровителю». Тот выслушал, обещал разобраться.

— Сейчас, сейчас! — шептал Волошин.

— Надо бы поторопиться, Алексей Николаевич, — кивала в ответ головой. — Прекрасная поэтесса, мать троих детей. Расстреляют ни за что!

— Хорошо, — послышалось в трубке, — даю телеграмму.

Волошин через неделю примчался с бутылкой вина: Лиза на свободе! Благодарил, закусывал, читал стихи...

Самое мрачное, казалось, позади, замаячил впереди лучик надежды. Собирались у нее в номере — все свои, каждый приносил что-нибудь вкусненькое. К шести вечера чуть теплел радиатор, за столом смех, разговоры, Вертинский у рояля с Изой Кремер, каминное зеркало отражает милые лица друзей: сухое, породистое Ивана Бунина, профиль бледной камеи, его жены, ушкуйника и весельчака Алеши Толстого, лирической его половины Наташи Крандиевской, Сережи Горного, Лоло, Нилуса. Панкратова, Софочки. Читали стихи, говорили об успехах Белой армии, о том, что не сегодня-завтра Деникин возьмет Москву.

Нагрязнул, не предупредив, возвращавшийся с объезда городских кварталов Гришин-Алмазов.

— Обязанность моя как градоначальника здешнего города, — произнес с порога, — заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Подчеркиваю, никаких.

Извлек и выложил на стол из пергаментного пакета балык, ветчину, несколько банок зернистой икры.

— Чем бог послал.

За столом посмеивались, дамы шушукались друг с дружкой.

— Я вам, генерал, пожалуй, адресок оставлю, — густо мазал икру на ломоть хлеба Толстой. — Будете мимо проезжать, милости просим.

— Всенепременно, — отзывался Гришин-Алмазов. — Обязанность моя как градоначальника...

Яркая по-своему личность. Дворянин, участник двух войн, награды за храбрость, включая солдатский Георгиевский крест. Лидер Белого движения в Сибири, военный министр в правительстве Колчака. Оскорбленный недоверием и установленной слежкой, покинул Омск, выехал в расположение Добровольческой армии на юг России, был назначен Деникиным на должность одесского генерал-губернатора. Ездил с конвоем из татар, которые поклялись ему в верности на Коране.

— Алексей Николаевич, ну сколько можно? — смотрела она на него притворно-строго. — В голове не укладывается! Военный губернатор, боевой генерал, не можете совладать с бандой уголовников! Этим, как его? Япончиком.

— Милая моя, очаровательная Надежда Александровна, как же вы наивны! — перепоясанный крест-накрест ремнями Гришин-Алмазов дожевывал лимон. — И это вам к лицу. Подчеркиваю, к лицу... Вы пока не до конца поняли Одессу. Это не еще один губернский город России, как вам кажется. Это другой мир, другая планета, если хотите. Жульническая от полюса до полюса. Такой была с времен царя Гороха, такой и осталась. У здешних обитателей изначально отсутствует такое понятие, как законопослушание, одесситы это слово просто не в состоянии выговорить. Было время, эту стихию воровства и махровой уголовщины сдерживала в известных границах, подчеркиваю, в известных границах машина государственной власти. С воцарением революционного хаоса шлюзы открылись. Кто смел, тот и съел. Банда на банде...

— Так перестреляйте их, — она сердито топнула ножкой — И делу конец!

— Стреляю, душенька. Патронов не хватает.

— Слышал, что ваша полиция, генерал, тоже того... — вмешался в разговор Бунин. — Взятки берет. Неправда?

— Берет. Но деньги идут исключительно на благотворительность.

По-монашески скрестил руки на поясе (играл, говорят, когда-то в театре).

— Кофейку на дорожку, и в путь, — молвил смиренно. — Если можно, с ромом. На нервах живу.

— Подчеркиваю, на нервах, — передразнила она его.

— Язва вы все-таки, Надежда Александровна...

Он регулярно ее навещал, в городе сплетничали, что у них связь, она не опровергла: черт с вами, думайте, что хотите! Заехал в начале весны, невеселый помятый. Сообщил: отстранен от должности прибывшим с новой эскадрой французским генералом Франше д'Эспре.

— Требуется, чтобы в двадцать четыре часа покинул город.

— И что вы?

— Черта лысого!

Остался с частью преданных добровольческих отрядов, контролировал несколько районов Одессы. Мглистым апрельским рассветом постучал в номер.

— Большевики прорвали фронт не далее как в трех десятках верст от Одессы, союзники эвакуируются. Ухожу за Днепр, в Бессарабию. Советую уехать, пока есть возможность. Морем, в Новороссийск... Прощайте, дорогая, — припал к руке, — бог знает, увидимся, нет. Был счастлив знакомством.

Прощай, Россия!

В «Одесских новостях» подробности: части Красной армии одолели первую линию перекопских оборонительных укреплений, устремились в глубь Крымского полуострова. Главнокомандующий Русской армии юга России генерал Петр Николаевич Врангель объявил приказ об эвакуации войск и «всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага». В обращении, разосланном телеграфом, решившихся на эвакуацию граждан предупреждали о тяжелых испытаниях, какие могут выпасть на их долю. Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное их пребывание на рейде и в море. Судьбу беженцев в дальнейшем невозможно предугадать — ни одна иностранная держава не дала пока согласия на принятие эвакуированных, правительство юга России не имеет средств для оказания им какой-либо помощи в пути и в дальнейшей жизни. Вывод простой: кому не угрожает непосредственная опасность, оставаться на месте, уповать на Божье милосердие.

Утром проснулась — топот ног за стеной, хлопанье дверей, где-то на улице стреляют. В коридоре беготня, двери номеров распахнуты настежь. В вестибюле горы багажа, озабоченные лица, все шепчутся друг с другом, говорят о каких-то пропусках, повторяют слово «Константинополь». Достала кошелек с деньгами, вынула на всякий случай из комода платья и белье, сложила на кровати, побежала в редакцию.

На улице столпотворение. Через открытую дверь соседней прачечной валит пар, видно через открытую дверь, как французские солдаты вырывают у прачек белье. Один вырвался на тротуар с мокрой охапкой, за ним осатанелые прачки:

— Стой, мусью! Чужое забрал!..

— Госпожа Тэффи!

Незнакомый какой-то, котелок на затылке, выпученные глаза.

— Собрались? Когда выезжаете?

— Куда, простите?

— Как куда? В Константинополь.

В редакции растерянные лица.

— Что происходит?

— Как что? Во Франции революция, войска союзников эвакуируются, банды большевистского атамана Григорьева в двух десятках верст от Одессы. Надо удирать.

Удирать — нет вопросов, но каким образом?

Фантазии разыгрались не на шутку. Нанимаем большую шхуну, садимся всей редакцией с семьями, грузим ротационную машину и типографскую бумагу, плывем в Новороссийск, где собирают флотилию.

— Надежда Александровна, — отвел в сторону старый метранпаж, — не слушайте вы этих брехунов. Похлопочите о пропуске на пароход, времени в обрез.

Хлопотать она не умела. Позвонила знакомому адвокату, трубку взяла дочь.

— Папы нет дома.

Звонок приятелю, звонок другому: или нет дома, или уже уехали, запасшись пропусками.

Пошла на квартиру адвоката, дверь отворила дочь, вся передняя завалена вещами.

— Папа по делам, придет не скоро.

— Уезжаете?

— Вроде бы.

Вернулась в гостиницу. Швейцары исчезли, большинство номеров с настежь распахнутыми дверями.

Влетел через порог запыхавшийся Сережа Горный.

— Ну что? Как с разрешением?

— Дохлый номер.

— Собирайтесь, поедете со мной! Жена с детьми уплыла с родственниками, у меня в паспорте на нее разрешение. Все будет хорошо, я на этом судне устроился инженером-механиком. Выдам вас за жену.

Да хоть за бабушку с дедушкой!

Нашла в пустом вестибюле мальчишку-посыльного, дала трешку, чтобы нашел извозчика. Сидела в кресле у окна, крутила в руках кипарисовый крестик, купленный когда-то в Соловецком монастыре, собиралась с мыслями. Второй год перекаати-поле, гонят неведомо куда. За что, за какие грехи? Почему вы не даете людям жить, человекообразные?

Спустилась в шестом часу вечера вниз, мальчишка снес вещи, подъехала пролетка.

— Эх, живыми бы добраться, — протянул с облучка старенький возница.

Двигались черепашим шагом среди экипажей, нагруженных телег, ручных повозок, шедших по обочине людей с чемоданами на плечах, заплечными мешками. Темные пальто с поднятыми воротниками, чиновничьи и гимназические шинели, кокарды, меховые шапки, женские шляпки. В порту дымили заправленные углем, готовые к отправке транспортные суда, по набережной, огибая запеленатого герцога Ришелье, шагали молчаливые зуавы с пригнанными к стволам штыками, двигались повозки, полевые кухни.

Попала — чудо, иначе не назовешь! — на военно-транспортную посудину времен царя Гороха «Шилку» (Сережа с раскрытым паспортом протащил ее по трапу, торпливо козырнул проверяющему: «Моя жена»). Утром обогнули маяк, море спокойное, солнышко припекло, запахло мокрой паклей, смолой, деревом. Из кают вылезли измотавшиеся за ночь пассажиры, шурились, рассказывали друг другу, как геройски переносят качку.

Три недели мотания по волнам, мытья палубы с задраным подолом, коллективной чистки картофеля, глаzenia на унылый горизонт — Новороссийск!

Город наводнен беженцами, квартиру снять невозможно — все занято, все комнаты и углы набиты битком. Вернулась, поколесив на извозчике, к месту стоянки «Шилки», умолила капитана разрешить остаться на судне. В ее распоряжении небольшая каютка за умеренную плату, столоваться можно с командой из общего котла, китаец-прачка стирает белье, китаец-слуга убирает каюту, что еще нужно для счастья!

Днем она пошла на базар купить фруктов — налетел внезапно на прилавки вихрь, взвилась выше головы юбка, полетели щепки, хлопнула парусина над ларьком, что-то с грохотом повалилось.

Двенадцать дней без перерыва свирепствовала новороссийская «бора». Сдула народ с улиц, выла злобно и тоскливо в снастях. Гуляли вдоль домов столбы желтой пыли, крутили сор, катали щебень по дорогам. К «Шилке» прибило раздувшийся труп коровы: паслась недалеко от берега, свалило в море. Матросы отталкивали ее баграми, она качалась на волнах, подплывала, толкалась упорно в борт.

Уныние, тоска. Выйдешь на палубу — с одной стороны силуэт запыленного, замученного тревогой сыпнотифозного города, с другой убегающее море, волны, суетливо шныряющие чайки. Закатывается за горизонт малиновое солнце, шлепают о борт волны, шуршат канаты. Идешь в каюту, слушаешь, лежа на деревянной койке, как уныло тренькает на расстроенной гитаре мичман, кашляет надрывно старый китаец-кок.

Получила наконец, побегав по конторам и отстояв километровую очередь к окошку военной комендатуры, пропуск на выезд за границу, огляделась, осмотрелась. Время есть, чего сидеть без дела? А тут, кстати, местный антрепренер пожаловал: едемте, госпожа Тэффи, денежку зарабатывать.

Почему бы нет? Соскучилась по вниманию публики, аплодисментам, живой жизни. Да и денежка лишняя бедной сочинительнице не помеха.

Месяц с лишком в дороге: переполненные поезда, дорожные брички, авто. Екатеринослав, Ростов, Кисловодск. Вечера с исполнением ее театральных миниатюр, чтение с эстрады, новые знакомства, вечеринки, рестораны. Вернулась в Новороссийск по срочной телеграмме Бэлочки Казаровой: «Возвращайся, днями отплываем».

Сутки под проливным дождем на пристани, последние часы перед трапом парохода «Великий князь Александр Михайлович».

— К весне вернетесь, — чей-то голос.

Посадка, прущий напролом поток обезумевших людей.

— Проходи, проходи! — тянет ее за рукав швартовый матрос.

В полдень загрохотали на носу и корме якорные цепи, «Великий князь Александр Михайлович» задымил энергично обеими трубами, застучала внизу машина, забурлило за кормой — тронулись!

Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по воде черный дым. Только не надо оглядываться, надо смотреть вперед, в синий, широкий, свободный простор. Но голова, как у жены Лота, сама поворачивается, широко открытые, залитые слезами глаза смотрят, как тихо-тихо уходит от нее ее земля. Уходит, уходит...